

БОР. ПИЛЬНЯК

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

III

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО



БОРИС ПИЛЬНЯК

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

★

ТОМ

III

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

БОРИС ПИЛЬНЯК

ТЫСЯЧА ЛЕТ

★



МОСКВА 1930 ЛЕНИНГРАД

ОТ ПЕЧАТАНО
в 1-й Образцовой типографии
Госа. Москва, Валовая, 28.
Главлит № А-44181. X-20.
Сиз № 32255. Заказ № 2242.
Тираж 5000 экз. 14 $\frac{1}{2}$ л.

ТЫСЯЧА ЛЕТ

Оставим мертвым погребсти
свои мертвецы. (Матфей, гл. VII.)

Брат приехал ночью, ночью же говорил с Вильяшевым. Брат Константин вошел с кэпи в руках, в глухой тужурке, высокий, худой. Свечи не зажгли. Говорили недолго, Константин сейчас же ушел.

— Умерла тихо, покойно. Верила богу. Разорвать с тем, что было, возможности нет. Кругом голод, цынга тиф. Люди — звери. Тоска. Видишь — живу в избе. Дом взят — чужой. Мы чужие — они чужие.

Константин сказал коротко, спокойно:

— В мире нас было трое: я, ты и она; Наталья. Finita. Со станции шел пешком, ехал в свином вагоне. Не успел к похоронам.

— Похоронили вчера. Знала, что умрет. Итти отсюда никуда не хотела.

— Старая девка. Здесь все изжито.

Константин ушел, не простившись. Младший Вильяшев увидал брата еще раз вечером, — оба бродили весь день кругом, по суходалам. Говорить было не о чем.

Рассвет был мутным. В рассвете на кургане Вильяшев приметил беркута: беркут сидел на плоской курганной вершине, рвал голубя, — увидав Вильяшева, улетел в пустынное небо, к востоку, прокричал над весенними полями, одиноко, гертанно. Одинокий этот тоскующий крик запомнился надолго.

С холма, от кургана на десятки верст было видно кругом: луга, перелески, села, церковные белые колокольни. Над лугами восходило красное солнце, шли розовые туманы. Был утренник со звонкими льдинками на межах. Была весна, синим куполом стало небо над землею; дули бодрые ветры, тревожные, как полусон. Земля разбухла, дышала, как леший. Ночами шли перелеты, кричали рассветами у кургана журавли, рассветами голоса их казались стеклянными, прозрачными, скорбными. Приходила буйная, обильная весна — непреложное, самое главное.

Над весенней землей гудели колокола: по деревням, по избам шли тиф, голод и смерть. Попрежнему стояли слепые избы, веющие по ветру гнилой соломой стрех, как пятьсот лет назад, когда каждую весну снимали избы, чтобы нести дальше в леса, к востоку, к чувашам. В каждой избе была смерть, в каждой избе под образами лежали горячечные, отдававшие душу господу так же, как жили: покойно и жестоко. В каждой избе был голод. Каждая изба, как пятьсот лет назад, светилась ночами лучиной, и огонь высекали кремнем. Живущие несли мертвых к церквям, и гудели весенние колокола. Живущие в смятении ходили по полям крестными ходами, вокруг сел, окапывали их, святили межи святой водой, — молили о хлебе, об избавлении от смерти, и гудел в весеннем воздухе колокольный гул. И все же звенели сумерками девичьи песни: сумерками приходили к кургану девушки, в пестрых своих домотканых одеждах, пели древние песни, — ибо шла весна, и пришел их час родить. Парни ушли на злую-лихую войну: под Уральск, под Уфу, под Архангельск. Выйдут землю пахать по весне — старики.

Вильяшев — князь Вильяшев, древний род его повелся от Мономаха, — стоял на холме понуро, смотрел в даль, — богатырь. Мыслей не было. Была боль, — знал, что кончено все. Пятьсот лет назад так же стоял, быть может, его

предок-варяг, с мечом, в кольчуге, опираясь на копьё: усы были у того, должно быть, как у брата Константина. У того было все впереди. Сестра Наталья умерла от голодного тифа, смерть свою — знала, звала. Ни Константин — старший, ни он, ни младшая Наталья — не нужны. Гнездо разорено — гнездо стервятников. Хищные были люди. Силы в Вильяшевых было много: обессилела сила.

От кургана Вильяшев пошел на Оку, за десять верст, — бродил весь день, — шел полями, суходолами, — кряжистый, в плечах сажень, с бородой по пояс, — богатырь. В оврагах лежал еще снег, текли по лощинам ручьи, шумели. Было небо теплым по-весеннему, синим, широким. Ока разлилась широким простором. Шел над рекою ветер, — был в ветре некий полусон, как в русской девушке, не испившей страсть, и хотелось потянуться, размять мышцы: были в Вильяшеве скорбь и тревожный полусон, тревога. Есть у русского тоска по далям, манят реки, как широкие дороги, на новые места; кровь предков еще не угасла. Вильяшев лег на землю, голову положил на руки, лежал неподвижно. Холм над Окою был лыс, ветер обдувал ласково, тихо. Звенели жаворонки. Справа, слева, сзади кричали птицы, весенний воздух нес все звуки, — от реки же шла строгая тишина, лишь к сумеркам загудел над нею заречный колокольный звон. Вильяшев лежал долго, понуро, неподвижно, — богатырь в тоске, — поднялся быстро, быстро пошел назад. Ветер ласкал бороду.

Брата Вильяшев встретил у кургана. Небо налилось вечерним свинцом, березки и елочки под курганом стали призрачны и тяжелы. Несколько минут весь мир был желтым, как болотные купавы, позеленел и начал быстро синеть, как индиго. Запад померк лиловой чертой, в долине пополнился туман, прокричали пролетевшие гуси, простонала вышь, и стала весенняя ночная тишина, та, что не теряет ни одного звука, сливая их в настороженный ве-

сенний гул, — настороженный, как сама весна. Брат, князь Константин, шел прямо к кургану, в кэпи, в английском своем пальто с поднятым воротником, с тростью на руке. Подошел и закурил, огонек осветил орлиный его нос, костистый лоб, серые глаза блеснули холодно и покойно, как ноябрь.

— Весной, в перелет, как птицу, тянет человека куда-то. Как умерла Наталья?

— Умерла на рассвете, в сознании. Жила же без сознания, ненавидела, презирала.

— Посмотри кругом. — Константин помолчал. — Завтра Благовещение! Я думал. Посмотри кругом.

Курган стоял темным пятном, шелестела едва слышно прошлогодняя полынь, булькал выходящий из земли воздух, какой-нибудь земляной газ. Запахло тлением. Небо за курганом помутнело, долина лежала пустынной, бескрайной. Воздух посырел, похолодел. В старину в долине был волок.

— Слышишь?

— Что?

— Земля стонет.

— Да, просыпается. Весна. Земная радость.

— Не то. Не об этом... Скорбь. Пахнет тлением. Завтра Благовещение, великий праздник. Я думал. Посмотри кругом. Люди обезумели, дикари, смерть, голод, варварство. Люди обезумели от ужаса и крови. Люди еще верят богу, несут покойников, когда их надо сжигать, — еще идолопоклонство. Еще верят лешему, ведьмам, чорту и богу. Сыпной тиф люди гонят крестными ходами. В поезде я все время стоял, чтобы не заразиться. Люди думают только о хлебе. Я ехал, мне хотелось спать, пред моими глазами болталась дама в шляпке, которая, захлебываясь, говорила, что едет к сестре попить молочка. Меня тошнило, она говорила — не хлеб, мясо, молоко, а хлебец,

мясо, молочко. Дорогое мое маслице, я тебя скушаю!.. Дикость, люди дичают, мировое одичание. Вспомни историю всех времен и народов: резня, жульничество, глупость, суеверие, людоедство, — не так давно, в Тридцатилетнюю войну, в Европе было людоедство, варили и ели человеческое мясо... Братство, равенство, свобода... Если братство надо вводить прикладом, — тогда лучше... не надо!.. Мне одиноко, брат. Мне скорбно и одиноко. Чем человек ушел от зверя?..

Константин снял кэпи. Костистый лоб был бледен, зелен в мутном ночном мраке, глазницы западали глубоко, — лицо напомнило на момент череп, но князь повернул голову, взглянул на запад, хищно изогнулся горбатый нос: мелькнуло в лице птичье, хищное, жестокое. Константин вынул из кармана пальто кусок хлеба и передал брату.

— Ешь, брат. Ты голоден.

Слышно было, как в долине, во мраке загудел колокол, на выселках гулко лаяли собаки. Широким крылом овеивал ветер.

— Слушай. Я думал о Благовещении... Я представлял себе. — Медленно меркнет над западом красная заря. Кругом дремучие леса, болота и топи. В лощинах, в лесах воют волки. Скрипят телеги, ржут лошади, кричат люди, — это дикое племя Русь ходило собирать дань, и теперь волоком идут с Оки на Десну и на Сож. Медленно меркнет красная вечерняя заря. На холме князь стал табором: умирал медленной вечерней зарей юный княжич, сын князя. Молились богам, жгли на кострах девушек и юношей, бросали людей в воду водяному, призывали Иисуса, Перуна и богомать, чтобы спасти княжича. Княжич умирал, княжич умер страшною весеннею вечернею зарею. Тогда убили его коня, его жен и насыпали курган. А в стане князя был араб, арабский ученый Ибн-Садиф. Был он в белой чалме, тонок, как стрела, гибок, как

стрела, смугл, как вар, с глазами и носом, как у орла. Ибн-Садиф Волгой поднялся на Каму к булгарам, теперь с Русью пробирался в Киев, в Царьград. Ибн-Садиф бродил по миру, ибо все изведаль, кроме стран и людей... Ибн-Садиф поднялся на холм, на холме жгли костер, на плахе лежала обнаженная девушка с распоротой левой грудью, и огонь лизал ее ноги, кругом с мечами в руках стояли хмурые усатые люди, древний поп-шаман кружился перед огнем и неистово кричал. Ибн-Садиф повернулся, ушел от костра, опустился на волок, к реке. Уже померкла заря. Четкие звезды были в небе, четкие звезды отражались в воде. Араб взглянул на звезды в небе и на звезды в воде, — одинаково призрачные, — и сказал: — «Скорбь. Скорбь!» За рекою выли волки. Ночью араб был у князя. Князь правил тризну. Араб поднял руки к небу, как птички крылья взметнулись белые его одежды, сказал голосом, напоминающим орлиный клекот: — «Сегодня ночь, когда ровно тысячу лет тому назад в Назарете архангел сказал богоматери о приходе вашего бога, Иисуса. Скорбь. Тысяча лет!» — так сказал Ибн-Садиф. Никто в таборе не знал о Благовещении, о светлом дне, когда птица не вьет гнезда... Слышишь, брат? — гудят колокола. Слышишь, как воют собаки?.. А над землей попрежнему — голод, смерть, варварство, людоедство. Мне жутко, брат.

Лаяли над холмом на выселках собаки. Ночь стала сильнее, холодной. Князь Константин присел на корточки, опираясь на трость, и сейчас же поднялся.

— Поздно уже, холодно. Идем. Очень жутко. Я ни во что не верю. Одичание. Что мы? Что наши чувствования, когда кругом дикари. Одиноко. Мне одиноко, брат. Никому ненужны, — наши предки не так давно пороли на конюшне, девок в брачную ночь брали к себе в постель. Проклинаю и их. Звери... Ибн-Садиф!.. — князь вскрик-

нул глухо, гортанно, дико. — Тысяча лет. Отсюда в Москву я, верно, пойду пешком.

— У меня, Константин, силы — как у богатыря. — Вильяшев говорил тихо. — Сломать, изорвать, растоптать хочется, а сладил со мной, как с дитятей.

Курган остался позади. Шли холмом. Обильная, разбухшая земля вязла в морозце. Во мраке прокричали гуси, севшие на ночь. На лугу синел туман. Вошли в деревню, — деревня была безмолвна, за околицей лаяла собака. Шли бесшумно.

— В каждой избе тиф и варварство, — сказал Константин и — замолк, прислушиваясь.

За избами на проселке из села девушки пели церковный тропарь о Благовещении. В весеннем настороженном вечере мотив гудел торжественно-просто и мудро. И, должно быть, оба почувяли, что тропарь этот непреложен, как непреложна весна, с ее законом рождения. Стояли долго, переминая промокшие ноги. Каждый, должно быть, почувствовал, что — все же в человеке течет светлая кровь.

— Хорошо. Скорбно. Это не умрет, — сказал Вильяшев. — Из веков.

— Удивительно хорошо. Странно хорошо. Жутко хорошо! — отозвался князь Константин.

Из-за угла вышли девушки в пестрых паневах, прошли мимо чинно, парами, пели:

Земля мать,
Мати, радуйся.

Повеяло землей — сырой, обильной, разбухшей. Девушки шли медленно. Братья стояли долго, пошли тихо. Кричали полночные петухи. За холмом поднялся последний перед Пасхой месяц, кинул глубокие тени.

В избе было темно, сыро и холодно, так же, как в день смерти Натальи, когда хлопали беспрестанно дверями.

Братья разошлись по своим комнатам быстро, не разговаривали, свечей не зажигали. Константин лег на постель Натальи.

На рассвете брат Константин разбудил Вильяшева.

— Ухожу, прощай. Finita. Из России: из Европы — уеду. Нам в округе, — отцов, — стервятниками звали. Травили борзыми волков, людей, зайцев. Скорбь! Ибн-Садиф!

Константин зажег на столе свечу, прошелся по комнате, и Вильяшев поразился: на стену, выбеленную известкой, преломленная сквозь синий рассветный свет, упала синяя тень брата, удивительно синяя, точно на стену пролили синьку, и брат, князь Константин, казался мертвым.

Никола-на-Посадях.

6 апр. 1919 г.

МАТЬ СЫРА-ЗЕМЛЯ

Посвящается А. С. Яковлеву.

КРЕСТЬЯНИН сельца Кадом Степан Климов пошел в лес у Ивового Ключа воровать корье, залез на дуб и сорвался с дерева, повис на сучьях, головою вниз, зацепился за сук оборками от лаптей; у него от прилива крови к голове лопнули оба глаза. Ночью полесщик Кандин доставил лесокрада в лесничество, доложил Некульеву, что привел «гражданина самовольного порубщика». Лесничий Некульев приказал отпустить Степана Климова. Климов стоял в темноте, руки по швам, босой (оборки перерезал Кандин, когда стаскивал Климова с дуба, и лапти свалились по дороге). Климов покойно сказал:

— Мне бы провожатого, господин товарищ, глаза-те вытекли у меня, без остатка.

Некульев наклонился к мужику, увидал дремучую бороду: — то место, где были глаза, уже стянулось в две мертвые щелочки, и из ушей и из носа текла кровь.

Климов остался ночевать в лесничестве, спать легли в сторожке у Кузи. Кузя, лесник и сказочник, рассказывал сказку про трех попов, про обедни, про умного мужика Илью Иваныча, про его жену Аннушку и пьяницу Ванюшу. Ночь была июньская и лунная. Волга под горой безмолвствовала. Ночью приходил старец Игнат из пещеры, за которым бегал пастух Минька, — старец определил, что глаз Степану Климову не вернуть — ни

молитвой, ни заговором, — но надо прикладывать подорожник, «чтобы не вытекли мозги» — —

— — ...Главный герой этого рассказа о лесе и мужиках (кроме лесничего Антона Ивановича Некульева, кроме кожевенницы Арины — Ирины — Сергеевны Арсеньевой, кроме лета, оврагов, свистов и посвистов) — главный герой — волчонок, маленький волчонок Никита, как назвала его Ирина Сергеевна Арсеньева, эта женщина, так нелепо погибшая и мерившая — этим волчонком — погибшим за шкуру — столь многое. Он, этот волчонок, был куплен за несколько копеек в Тетюшах-подлинных, а не в тетюшиных, с маленькой буквы, на Волге, в Казанской губернии, весной. На пароходной конторке его продавал мальчишка, его никто не покупал, он лежал в корзинке. И его купила Ирина Сергеевна.

Он только-только научился открывать глаза, его шкурка цветом походила на черный листовой табак, от него разило псиной, — она взяла его к себе за пазуху, пригрела у своей груди. Это ей пришло на мысль сравнить цвет его шерсти с табаком, — он маленький, меньше чем котенок, дурманил ее, как табак, волчьей своей таинственностью. Мальчишка, продавший волченка, рассказал, что его нашли в лесу на поляне, — мальчишки пошли в лес за птичьими яйцами и набрали на волчий выводок (волчата были еще слепыми), пять волчонковых братишек умерли от голода, он один остался жив. — Волчонок не мог лакать. Ирина Сергеевна отстала от парохода, достала в Тетюшах — по мандату — соску, такую, какими кормят грудных детей, — и кормила волчонка из этой соски, — она шептала волчонку, когда кормила его:

— Ешь, глузыш мой, — соси, Никита, — расти!

Она научилась часами — матерински — говорить с волчонком. Волчонок был дик, он пугался Ирины Сергеевны, он залезал в темные углы, поджимал под себя пушистый

свой хвостик, — и черные его сторожкие глаза сосредоточенным блеском всегда стерегли — оттуда, из темноты — каждое движение рук и глаз Ирины Сергеевны, — и когда глаза их встречались, — глаза волчонка, немигающие, становились особенно чужими — смотрели с этой трехугольной головы двумя умными блестящими пуговицами, — но весь треугольник головы, состоящий из острой пасти и черных, тоже острых, ушей, — был глуп, никак не страшный. И от волчонка страшно пахло псиной, все прокисало его духом — —

— — Есть в волжской природе — арсеньевских плесов — какая-то пожухлость. Волга — древний русский водный путь — текла простором, одиночеством, дикостями. Июлем на горах пожухла трава, пахнет полынью, блестит под луной камень, пылятся, натруживаются ноги, — и листья на дубах и на кленах тверды, как жестяные, сосну не рассадить силой, спокойствует лишь татарский нектен, нет цветов, и костры на горах — не смешиваешь их со сполохами — видны с Волги на десятки верст сквозь пыль астраханской мги. И тогда известно, что пыль рождена — кузнечиками, июньским кузнечиковым стрекотом. Справа — горы в лесах, за горами — на горах — леса, слева — займища, за займищами — степи. Вдали во мгле за Волгой видны нерусские колокольни: немецкие «колонки».

Когда-то, кажется, император Павел дал князю Кадомскому дарственную грамоту, где императорской рукой было написано:

— «Приедешь, Ваше Сиятельство, на Волгу в гор. В., там в тридцати верстах есть гора Медынская, взойдешь, Ваше Сиятельство, на эту гору и все, что глаз Вашего Сиятельства увидит, — твое — —» — — на Волге, в степных уже местах, на горах и по островам, на семьдесят верст по берегу, возникли Медыньские леса, возрос строевой — сосновый — лес, —

дубы, клены, вязы, — заросли, пуши, раменья, саженцы — тысячи десятин. У Медынской горы в лощине стал княжий дом, оторопел девятьсот семнадцатым годом. Ничего, кроме лесных сторожек да кордонов, в лесах не было, деревни и села отодвинулись от лесов, посторонились лесам и князю. — Лесничий Некульев так писал друзьям в губком о дороге к нему: — «...пароходом надо добраться до села Вязовы; в Вязовах надо найти — или полесчика Цыпина, и он протрясет шестнадцать верст на телеге, по лесам, по горам и буеракам, — или рыбака Василия Иванова Старкова (надо спрашивать Васятку-рыбака), и он отвезет — на себе — вверх по Волге двенадцать верст. Это врут, что только в Китае ездят на людях: в наших местах это тоже практикуется, — Старков впряжется в лямку, сын его сядет к рулю, ты в лодку, — и бечевой, как триста лет назад, на себе, поочередно, они дотянут тебя до лесничества. Он же, Старков, если его спросить: — «сколько у вас в Вязовах коммунистов?» — ответит: — «коммунистов у нас мало, у нас все больше народ, коммунистов токмо два двора». — А если добиваться дальше, кто же собственно этот народ? — Он скажет: «народ — знамо: народ! — Народ вроде, как бы, большевики».

Леса стояли безмолвны, пожухли. — Но если б было такое большое ухо, которое слыхало бы на десятки верст, — в лесном шорохе и шелесте в ночи, оно услышало бы многие трески падающих деревьев, сплеленных воровски, дзеньканье пил, разговоры в лощинах, на горах, в пещерах и шалашах самогонщиков и дезертиров, шаги и окрики и пальбу в небо полесчиков и лесников, пошвысты и перешвысты, и совиный крик, и людской крик, и стоны битых, и топоты копыт. Ночами далеко видны лесные костры, и если эти костры люди зажгли в лощине, — далеко по росе стелется дым; — страшны ночные костры, и страшные были рассказываются около ночных россий-

ских костров. Волки далеко обходят костры. — Дни в лесах — в июле — всегда просторны, и пахнут леса татарским неклемом. — Лесные люди — лесничие, полесчики, лесники — убежденнейше убеждены, что весь человеческий мир разделен на них, лесничих, полесчиков и лесников и на — «граждан самовольных порубщиков» — —

— — Был бодрый солнечный день, когда лесничий Антон Некульев, бодрый и веселый человек, разыскал в Вязовах полесчика Цыпина, рассказал ему, что он новый лесничий, что он коммунист, что на пароходе была теснотища чортова, что ему надо в сельский совет, что ночью ему надо в Медынь, что Ленин, чорт подери, — башка! Он не говорил о том, что за ним едет еще шестнадцатеро мастеровых, чтобы не дать разграбить леса, — что дан ему и его шестнадцатерым мандат расправляться вплоть до расстрелов. — В сельском совете, в мушинных тишине и покойствии, сидели председатель и секретарь, пили самогон и закусывали соминой, — председатель велел секретарю подать третий стакан Некульеву. — Цыпин слушал и смотрел все обстоятельно: утром еще, как только приехал Некульев, по кордонам послал в Медынь эстафету, чтобы выехал Кузя за новым лесничим, — слова «эстафета» и «кордон» застряли в лесном лексиконе от княжеских времен. Цыпин слушал Некульева обстоятельно, но, будучи страстным охотником, в ответ рассказывал о тетеревах, о лисицах, о двустволках, — рассказал, впрочем, как убили мужики предшественника лесничего: убили в доме, выпороли ему кишки, кишками связали по рукам и по ногам, — все стремились всунуть в рояль, но не всунули, и вместе с роялем сбросили с обрыва к Волге, — рояль и до сих пор висит на обрыве, застрял в тальнике; — а охота в этих местах царская, — ежели, например, покорыститься травить лису в январе, когда она голодает, можно в зиму набрать шкур штук

сто, — только, конечно, не дело это для ружейного охотника, — наоборот, позор. — Кузя приехал на шарабана, где передние колеса были заменены тележными, а задние остались на резине. Кузя выстроился во фронт, руки по швам, зарпортовал — честь имею явиться... — Некульев подал ему руку, хлопнул по плечу. Кузя сказал:

— Честь имею доложить, так что, лучше нам заночевать здесь, а то — гляди — пришибут еще ночью, которые порубщики. Честь имею, так что народ стал прямо сволочь, одно безобразие.

Цыпин оказался иного мнения о положении вещей. Рассуждал:

— Это чтобы товарища Антона Ивановича Некульева тронуть? — Да он сам коммунист, большевик. Теперь леса наши. Это — чтобы тронуть? — Да я вас до Ивова Ключа провожу, по степу поедем, в объезд. У Антона Ивановича — наган, у тебя — винтовка, у меня — винтовка, сыну велю итти вперед, двухстволку дам. Да мы их всех перестреляем! Это чтобы большевиков трогать, — на то он и приехал, что леса наши. Теперь бери сколько хошь, без воровства, по закону.

Степи в июле удушливы, томит стрекот кузнечиков и пахнет полынью. Все время мигали зарницы. Спустились с горы, проехали овраг, проехали мимо ветрянок, и кругом полегла степь, испоконная, как века. Поехали в объезд. Цыпин скоро заснул, Кузя мурлыкал себе под нос. Было очень темно и тихо, только трещали кузнечики. Снова спустились в балку, и слышно стало, как пищат, посвистывают неподалеку — сурки, — Кузя слез с шарабана, повел лошадь под уздцы, сказал, что сурки своими норами всю дорогу изрыли, чего доброго лошадь ногу сломает. Выехали на гору и увидели, как далеко в степи, на горах, над Волгой в безмолвии разорвалось небо молнией, — грома не докатилось. — «Гроза будет», — сонно

сказал Цыпин. — И опять распахнулось небо, так же безмолвно, только теперь слева, над степями подлинными. Лошадь побежала рысью, сухой чернозем разносил топот копыт и тарактение колес гулко, — показалось, что кузнечики стихли, — и огромная половина неба, от востока до запада, порвалась беззвучно, открыла свои бесконечности, рядом с дорогой склонили подсолнечники тяжелые свои головы, — и тогда по степи прокатились далекие огромные дроги грома, стало очень душно. Молнии вспыхивали уже бессечно, все небо рвалось молниями в доскутья и все небо стало кегельбаном, чтобы веселыми стихиями катать кегли грома. Цыпин проснулся, сказал: «Надоть, Кузя, к пастухам ехать, в земляйке дождь пересидим, мокнуть никак неохота». —

Гроза, просторы, громы, молнии — показались Некульеву необычайной радостью, на все дни бытия его в лесах запомнилась ему эта ночь, — этак хорошо иной раз в молодости перекричать грозу, покричать вместе с громами! — До пастушьей землянки не успели доехать: заметался по степи ветер во все стороны, молнии металась и громы гремели со всех сторон, — дождь окатил шагах в ста от землянки и вымочил сразу, до нитки. Чернозем на тропке к землянке расползся вмиг, ручей потек в землянку. Крикнул кто-то испуганно: — «Какой чорт еще тут ходит?» — Лошадь у плетня стала покорно. Некульев в ярком молнийном свете нацелился, как шагнуть к землянке, — и в крошечном дождевом мраке покатился в лужу. В громах услышал рядом разговор: — «Ты, Потап? Это я, Цыпин». — «Спички у нас вымокли. Тебя что, на охоту понесло, что ли?» — «Не, барина везу, коммуниста, нового лесничего». — Опять разорвалось молнией небо, мимо пробежал мальчонка в землянку, — сказал, проваливаясь вместе с землянкой во мрак: — «Тятянь, опять волки пришли, стая. Тама лошадь чужая

стоит, чужая, возле ней!» — Кузя остался сидеть у лошади под шарабаном, — Цыпин и Некульев с ружьями, старик пастух с палкой, пошли к лошади. Лошадь нашли влезшую на плетень, она храпела, а Кузя стоял, стряхивая с себя грязь, часто-часто и плаксиво подматерщинивая. — «Сел под шарабан, как светанет молонька, — ка-ак маханет сивый на плетень, — как только затылок цел остался?!» — «Дурак, это волки!» — «Н-ну?» — Стацили с плетня лошадь, заменили лопнувшую чересседелку веревкой. Решили ехать дальше. Поехали. Дорогу сразу развезло, текли ручьи. Спустились в овражек. Сказал Цыпин: — «Ты, Кузя, мостом не езди, лошадь ногу сломат. Тута у моста, — пояснил он Некульеву, — барина-князя мужики убили». По овражку мчал ручей, дождь прошел, гроза уходила, молнии и громы стали реже. Стали подниматься из овражка, ноги у лошади поползли по грязи, расползлись, — седоки слезли. Стали подталкивать шарабан, — влезли на полгоры и вновь поползли вниз, все вместе, и лошадь, и шарабан, и люди; лошадь упала, пришлось выпрягать. Полыхнула молния и увидели — наверху на краю овражка, шагах в десяти, рядом сидела стая волков. Сказал Цыпин: — «Надоть тащить телегу, ночевать здесь нельзя, волки замают». — Вывели сначала наверх лошадь, потом вытащили шарабан. — Некульеву все время было очень весело. —

Дождь прошел. Въехали во мрак, и шелесты, и запахи, и брызги с ветвей — в лес. Цыпин слез, отстал, пошел в сторожку к приятелю. Некульев недоумевал, как это в этом сыром и пахучем мраке, где ничего не видно, хоть глаз выткни, разбирается Кузя и не путает дорогу. Кузя был молчалив. —

— Когда князя-барина мужики порешили убить. — этот самый Цыпин пришел ко князю Кадомскому и говорит: — «Так и так, уехать вам надо, громить вас будут,

порешили мужики убить». — Князь лакею: — «Приказать заложить тройку!» — А Цыпин ему: — «Лошадей, ваше сиятельство, дать вам нельзя, мы не позволим, как они теперь народные!» — Князь заметался, вроде прасола нарядился, сапоги у кучера взял, картуз и на шею красный платок, — жена шаль надела. Вышли они ночью, потихоньку, — а у мосточка им навстречу Цыпин: — «Так и так, ваше сиятельство, на чаек с вашей милости, что упредил». — Дал ему князь монету, рубль серебром, — и кто убил князя — неизвестно. —

Кузя замолчал. Некульев тоже молчал. Ехали шагом в крошечном мраке. Изредка горели на земле ивановские червячки.

— А то вот еще, кстати сказать, жил в одном селе мужик, очень умный, хозяйственный мужик, звали, скажем, Илья Иванович, — начал неспеша и напевно Кузя. — А у него была жена красавица, молодуха, и жена мужу верная, звать — Аннушка. А село было большое, и в ем, заметьте, три церкви разным богам... И вот пошла Аннушка к обедне, а кстати сказать, в каждой церкви обедни начинались в разное время. Идет Аннушка, а навстречу ей поп: — «Так и так, здравствуй, Аннушка!» — а потом в сторонку: — «Так и так, Аннушка, как бы нам встретиться вечерком, на зорьке?» — «Чтой-то вы, батюшка?» — ему Аннушка, да шасть от него, прямо в другую церкву. А навстречу ей другой поп: — «Так и так, здравствуй, Аннушка!» — и опять в сторону: — «Так и так, Аннушка, не антиресуешься ли ты со мной переночевать?»

— Ты это про что говоришь-то? — спросил недоуменно Некульев.

— А это я сказку рассказываю, — очень все любят, как я рассказываю — —

— И еще был бодрый солнечный день, — день, который благостным солнцем вышел из сырого мрака степной

грозовой ночи, когда до одури пахло — и лесною и земною — благодатью. Легкие бухнули, как губка от воды, — хорошо пахнет, когда не клены топятя солнцем. Оторопелый белый дом ящерками и осколками стекла грелся на солнце, и с виноградника на террасе, едва лишь коснуться его, зрелые падали капли дождя. Волга под обрывом плавила солнце, нельзя было смотреть. — Если вставить рамы, привинтить дверные ручки, замазать отдушники и дверцы к печам, застлать растащенный паркет новым полом, — дом будет попрежнему исправен, все пустяки! — И из дальних комнат, глухо отчеканивая потолочным эхо шаги, в комнату, где на наружной двери была вывеска — «контора», — вышел бодрый человек в синей косоворотке, в охотничьих сапогах, — красавец, кольцекудрый, молодой. Пенсне перед глазами сидели как влитые, — совсем не так, как непокорствовали волосы. В конторе, скучной, как вся бухгалтерия земного шара, на чертежном столе лежали планы и карты, и на другом — зеленое сукно было залито чернилами и стеарином многих ночей и писак, — и солнце в окна несло бодрость всего земного шара. Навстречу Некульеву шагнул Кузя, руки по швам; — и был Кузя босоног, в синих суконных жандармских штанах, в бесцветной от времени рубахе, неподпоясанный и с растегнутым воротом; — и были у Кузи огромные бурые — страшные — усы, делавшие доброе его круглое лицо никак не страшным, а глуповатым. Кузя сказал:

— Честь имею доложить, там объездчики пришли, мужики, — лесокрадов объездчики доставили. А еще спрашивает вас женщина. — Допустить? —

— Пускай всех!

— Честь имею доложить, старый лесничий со всеми вот в это окошко говорили, специально на этот случай велено в стене дыру сделать.

— Пускай всех.

На несколько минут в конторе был митинг, ввалили мужики; — кто из них был пойман на порубке, кто пришел ходоком — разобрать возможности не было; объездчики выстроились по-солдатски, в ряд, с винтовками. Загалдели мужики миролюбиво, но сторожко:

— Леса теперь наши, сами хозяева!

— Как ты, товарищ, сам коммунист, — желам пилить в Мокром буераке, как он кадомский!

— Немцы из-за Волги, — ежели на нашу сторону в леса поедут, все ноги переломат!..

— Татары вот тоже, либо мордва.

— Ты, товарищ-барин, рассуди толком, — мы пилили и желам продать в Старов по сходной цене!

Сказал Некульев весело:

— Дурака, товарищи, ломать нечего и нечего дураками прикидываться. Что я коммунист, — это верно, а грабить лесов я не дам. И сами вы знаете, что это не дело, а орать я тоже умею, глотка здоровая!

Рядом с Некульевым стал мужик, босиком, в армяке, в руках держал меховую шапку, — Некульев сказал:

— Ну, что ты шапку ломаешь, как не стыдно, надень!

Мужик смутился, шмыгнул глазами, поспешил надеть, сдернул, злобно ответил:

— Чай здесь изба, образа висят!..

Попарно, неспеша и покойно, вошли в комнату шестеро, немцы, все в жилетах, но оборванцы, как и русские.

— Können Sie deutsch sprechen? — спросил немец.

Мужики загалдели о немцах, — вон, наши леса! — Некульев сел на стол, вытянул вперед ноги, покачался на столе, заговорил деловито:

— Товарищи, вы садитесь на окнах, что ли, — давайте говорить толком. Тут вот арестованные есть, так я их отпущу и пилы и топоры верну, — не в этом дело.

А лесов без толку пилить нельзя, посудите сами — и заговорил о вещах, ясных ему, как выведенные яйца.

Мужики и немцы ушли молча, многие к концу разговора, шапки, все же, понадевали, — последним сказал Некульев дружески: — «Делать я, товарищи, буду, как необходимо, и сделаю, что надо, — а вы как хотите!..» Некульев любил быть «без дураков».

Кузя выстроился во фронт, сказал:

— Честь имею доложить, — яишек вы не хотите ли, либо молока? У самих у нас нету, — Марьяна в колонку к немцам сплавает.

— Мне вообще надо с твоей женой поговорить, чтобы кормила меня, — давайте есть вместе. Яиц купите —

И было солнечное утро, и был бодр и красив молодостью и бодростью Некульев, и стоял босой, руки по швам, глупорожий Кузя, — когда вошла в контору Арина Арсеньева, кожевенница. Конторское зеленое сукно было закапано многими стеаринами и чернилами. —

— «Мне надо получить у вас ордер на корье. Драть корье мы будем своими силами. Вот мандат, — корье мне нужно для шихановских кожевенных заводов» — и на мандате вправо вверху «пролетарии всех стран, соединяйтесь!», — и на документах, на членской книжке — прекрасные обоим слова — Российская Коммунистическая Партия. — «Ваш предшественник убит? — князь убит?» — «Мужики кругом в настоящей крестьянской войне с лесами». — Разговор их был длинен, странен и — бодр, бодр, как бодрость всего солнца. — У одного — там где-то — лесной институт в Германии, российские заводы и заводские поселки; быть революционером — это профессия; в заводских казармах, в коридорах тусклые огни, и так сладок сон в тот час, когда стучит по коморам будило («вставайте, вставайте, — на смену, — гудок прогудел!»); — а мир прекрасен, мир солнечен, потому что — через лесной институт, через

окопы на Нароче от детства на Урале, от книг в картонных переплетках (долины под горою, — а за горою, в дубрах, где, кажется, и не был человек, медведи и монах в землянке) — твердая воля и твердая вера в прекрасность мира — «без дураков»: — это у Некульева; — и все шахматно верно: и здесь в Медынах, и там в Москве, и в Галле, и в Париже, и в Лондоне, и на Уральских заводах. — И у нее: — Волга, Поволжские степи, Заволжье, забор на краю села, — по ту сторону забора разбойные степи и путины, по эту — чаны с дубящейся кожей и трупный запах кож и дубья; — и этот запах даже в доме, даже от воскресных пирогов, пухлых, как перина, и от перин, как в праздник пироги; и ладан матери (мать умерла, когда было тринадцать лет, и надо было мать заменить по хозяйству и научиться кожевенному делу), и отец, как бычья дубленая кожа из чана, и часы с кукушкой, и домовая за печкой, и черти; — и тринадцати лет в третьем классе гимназии — уже оформилась под коричневым платицем грудь, — и обильно возросла к семнадцати заволжская красавица девушка-женщина; Петербург и курсы встретили туманной прямолинейностью, но туманы были низки, как потолки родного дома, и на Шестнадцатой Линии в студенческой комнате надо было изводить клопов, — но все же потолки после них — дома, когда умер отец — показались еще ниже, душными, закопченными, домового за печкой уже не было, а запах кож напомнил таинственное детство; — она вошла в дом — как луна в ночь, старший приказчик — бульдогом — принес просаленные бухгалтерские книги, а жандармы прикатали крысами, шарили, шуршали, арестовали за Петербург, — ни с домом, ни с бухгалтерией, ни с крысами примириться нельзя, никогда, кричать громко право дала красота, и тюремные коридоры стали петербургскою прямолинейностью, где луну никогда и никак не потушишь: — эхо у Арины

Арсеньевой, — и тоже все шахматно верно, и кожевенные заводы (ими пахнет детство) нужны для Красной армии, их необходимо пустить. Годы у женщин сменяют солнечность лунностью: семнадцатилетняя обильность к тридцати годам — тяжелое вино, когда все время было не до вин. — «И эти места, и леса, все Поволжье я знаю доподлинно» — —

На солнце от зелени некленов свет зеленоват, расплавляется воздух, — Некульев заметил: в зеленом свете такие стали синие венки на белках Арины, а зрачки уходят в пропасть — и показалось, что из глаз запахло дубленой кожей. — В контору вошли трое: мужик, баба, паренек-подросток. Мужик неуверенно сказал:

— Честь имею явиться, второй после Кузи лесник, с одиннадцатого кордону, Егор Нефедов. А это моя жена, Катя. А это сын, Васятка.

Лесника перебила жена, заговорила обиженно: — «Ты, барин, Кузе сказал, что с Маряшей исть хочешь. Как хочешь, твоя барская воля, а то можно и у нас, не хуже, чай, Маряшки. Мы избу строим, муж мой маломошный, грызь у него, мы из Кадом. — Как хочешь, твоя барская воля. У Маряшки ведь трое малолеток, мал-мала меньше, а нас всего трое». — Катя подобрала губы, руки уперла в боки, воинственно выжидая. — Некульев сказал: «Ступайте с богом, буду знать». — И Арина Арсеньева заметила в солнце: синяя бритая кожа скул и подбородка Некульева — тверда, крепка. Арина сказала тихо, с горечью:

— Вы знаете, когда «влазины» бывают, — влазины, это так называется новоселье, — ведь до сих пор крестьяне у нас вперед себя пускают в избу петуха и кошку, а потом уже идут люди и надо — по поверью — входить ночью в полнолуние. Ночью же и скотину перегоняют. И до рассвета в ту ночь хозяйка-баба голая дом обегает три раза. Это все для домового делается — —

ГЛАВА ПЕРВАЯ — НОЧИ, ДНИ

Спросить о лесе Маряшу, Катяшу, Кузю, Егора — расскажут.

— В лесах по суземам и ramenьям живет леший — ляд. Стоят леса темные от земли до неба, — и не оберешься всевозможных маряшинных фактов — темной стеной стоят леса. Человек по ramenьям с трудом пробирается, в чаще все замирает и глохнет. Здесь рядом с молодой порослью стоят засохшие дубы и ели, чтобы свалиться на землю, приглушить и покрыться гребною парчою мхов. И в июльский полдень здесь сумрачно и сыро. Здесь даже птица редко прокричит, — если же со степей найдет ветер, тогда старцы-дубы трутся друг о друга, скрипят, сыплют гнилыми ветвями, трухой. — Кузе, Маряше, Катяше, Егору — здесь страшно, ничтожно, одиноко, бессильно, мурашки бегут по спинам. На ramenьях издревле поселился тот чорт, который называется лядом, и Кузя рассказывал даже про видимость чорта: красный кушак, левая пола кафтана запахнута на правую, а не на левую; левый лапоть надет на правую ногу, а правый на левую; глаза горят как угли, а сам весь состоит из мхов и еловых шишек; видеть же ляда можно, если посмотреть через правое лошадиное ухо.

Белый дом в лощине у Медынской горы днями стоял тихо, в зелени, прохладный, как пруд. Ночами дом шалел: напряженным некульевским глазам — на глаза попадалась — битая мебель, корки порванных книг, всякая ерунда. На террасе в мусорном хламе Некульев нашел песочные часы, — песок из одной стеклянной колбы перетекал в другую каждые пять минут, лунными ночами поблескивало зеленовато стекло колб. Днями Некульев забывал об этих песочных часах, но ночами многие пятиминутки он тратил на них. Некульев любил быть без

дураков, он не замечал, что у него — помимо сознания и воли — каждый шорох в доме, каждый глупый мышинный пробег — покрывают гусиной кожей его спину, и появилась привычка не спать ночами, бодрость никогда не покидала, но все казалось по соседству кто-то — не то третий, не то седьмой какой-то, — и каждая ночь была, как все.

Была луна и под горой на воде ломались сотни лун, дом немотствовал, деревья у дома стояли серебряными, расположилась тишина, в которой слышны лишь совы. Лунный свет бороздил паркет в зале. Окна Некульев тщательно закрыл, но в окнах не было стекол. Три двери в зале Некульев задвинул мебельной рухлядью и подпер дреколем. У одной из дверей стоял диван, и Некульев лежал на нем. На стуле рядом висел наган в расстегнутой кобуре, к дивану в ногах была прислонена винтовка. На диване лежало большое здоровое красивое тело, вот то, что глупо покрывается от каждого шороха гусиной кожей. Некульев покойно знал, что у Ивового Ключа стерегут лес Кандин и Коньков, двое мастеровых, и они твердые ребята, мазу не дадут. А горами пешком не пройдешь, не то чтобы приехать на телеге, если же проберутся сюда, то — секретной дверью, оставшейся от помещика-князя и случайно найденной, — он пройдет в подвал, а оттуда под землей в овраг, а там — ищи, свищи!.. — Лампенка горела, чтобы отвести глаза, в правом крыле дома, где окна были тщательно завешены. — Луна заглядывала в окна, в дом, где все было разбито. Некульев поднялся с дивана, взял револьвер, отодвинул кол от двери и пошел темными комнатами, еще неуверенно, ибо плохо привык к дому; — на кухне он попил из ведра воды и вернулся обратно; в дверях прислушивался к дому, не заметив, что тело покрылось гусиной кожей, — подпер дверь колом; — и опять отпер поспешно: когда брал ведро, положил на подоконник револьвер, забыл его, поспешно пошел назад.

На окне в зале в пыльном лунном свете лежали песочные часы, — Некульев стал пересыпать песок, — склонил кудрявую голову к мутно-стеклянным колбам.

И тогда — неожиданно застучали в окно там, где была лампа, — неуверенный голос окликнул: — «Эй, кто там, выходите. Милиционер требует!» — Некульев ловкой кошкой взял винтовку, бесшумно выглянул в разбитое окно: стоял на луне у дома с багром в руках паренек, осматривался кругом, в тишину. Некульев покойно сказал: — «Ты кто такой?» — Паренек обрадованно заговорил: — «Иди, тебя требует милиционер!» — «Ты почему с багром?» — «А это я от собак. Собак-от нетути?» — Милиционер на берегу, в лодке!»

Парнишка, Кузя и Некульев (эти двое с винтовками) по обрыву спустились к Волге. У берега стояли три дощаника. По берегу ходил милиционер с наганом и саблей в руках и с винтовкой за плечами. Милиционер закричал:

— Вы что же, черти, спите, когда лес воруют?! — Я ездил ловить самогонщиков, два дощаника самогонщиков поймал, три дня ловлю, не спал, еду сейчас мимо Мокрой Горы, а с горы, с самой верхушки, смотрю, летят вниз бревна, — лесокрады работают, а вы спите! Я сам бы поймал лесокрадов, да вишь у меня только два понятых, а остальные самогонщики с поличным, — уйду — разбегутся. Сорок ведер самогонки везу, три дня не спал!.. — Так прямо с верхушки и сигают, и на воде два пустых дощаника!..

Милиционер влез в лодку, скомандовал самогонщикам, — мужики впряглись в лямку, потащили бечевой дощанный караван, безмолвно. Милиционер покрикивал и поводил дулом револьвера. Луна светила безмолвно, и сотни лун кололись на воде. Горы и Волга немотствовали. Дощаники — скрылись за косой.

Кузя привел двух лошадей, одна под седлом, другая с мешком сена на спине.

Кузя, Некульев лесными тропками, горами, молча, с винтовками наперевес, мчались к Мокрой Горе. Лошадей оставили в Мокрой Балке, — вышли к Волге.

Волга, горы, тишина, — прокричал сыч, посыпался под ногами гравий, пахнуло пылью откуда-то, — тишина, — и на горе затрещало дерево, сорвалось с вершины, покатило вниз под обрыв, потащило за собой камни. Кузя и Некульев пошли под обрывом, — в тальнике увязли два дощаника, один уже наваленный бревнами. Еще сорвалось с вершины бревно, — и сейчас же рядом в десяти шагах негромко свистнул человек, а другой свистнул на горе, и третий свистнул, — и мир замер. И тогда одиноко на горе раскололся винтовочный выстрел. Кузя присел за камень, — Некульев толкнул его — вперед — коленом, перезамкнул замок винтовки и — твердо пошел к дощаникам, — толкнул на воду пустой и навалился, чтоб столкнуть нагруженный, — сверху выстрелили из винтовки, — пуля шлепнулась в воду. — «Кузьма! иди, толкай!» — на отвесе наверху красный вспыхнул огонек, лопнул выстрел, шлепнулась пуля. По огоньку — сейчас же — выстрелил Некульев, и с горы закричали: «Ой, что ты делаешь, лешай?! Не трожь дощаники!»

Некульев сказал:

— Кузя, чаль, толкай веслом, иди на руль, гони от берега, а то подстрелят!

Луна потекла с весла. С берега кричали: «Барин, касатик, прости Христа ради, отдай дощаники!»

Некульев сказал:

— Эх, чорт, лошадей как бы не украли!

Кузя ответил:

— Пошто, — мы сейчас их возьмем. Бояться теперь нечего. Мужик охолонул, мужика теперь страх взял.

Подплыли к Мокрой Балке. К дощанику — трое — подошли мужики, — вязовские, в слезах, один из них с вин-

товкой, — замолили о дощаниках. Некульев молчал, смотрел в сторону. Кузя — тоже молча пошел в балку, привел лошадей, впряг их в яму, — тогда строго заявил:

— Лес воровать, сволоча! Садись в дощаник, под арест! Там разберут, как леса воровать!..

Мужики повалились на колени. Некульев недовольно шепнул:

— На что их брать? Куда мы их денем?

— Ничего, пострадать не вредно!

Лошади шли берегом по щелбню, медленно. Горы и Волга замерли в тишине, но луны уже не было: за Волгой в широчайших просторах назревало красным — пред днем — небо, похолодело в рассвете, села на рубашку роса.

— Сказочку вам не рассказать ли? — спросил Кузя.

Дощаники с лесом завели за косу под Медынской горой, привязали крепко. — (Через два дня — ночью — эти дощаники исчезли, кто-то украл) — —

И опять в ночи задубасили в окна, — «Антон Иванович, — товарищ лесничий, — Некульев, — скорей вставай!» — и дом зашумел боцами, шорохами, шопотами, свечи и зажигалки закачали потолки, — «у Красного Лога — потому как ты коммунист, мужики из Кадом — всем сходом с попом поехали цилить дрова — по всем кордонам эстафеты — даны — полесчика Илюхина мужики связали, отправили на съезжую!»

У конного двора, против людской избы стоят взмыленные лошади, так крепко пахнет конским потом (Некульеву от детства сладостен этот запах), — яркая звезда зацепилась за вершину горы (какая это звезда?), и рядом под деревом горит иванов червячок. Кузя вывел лошадей, — но ему лошади не досталось, и он побежит пешком.

— Ягор, ты винтовку-то пока повези, чего тащить-то? —

На лошадей, и карьером в горы, в лес, — «эх, чорт! все просеки заросли! глаз еще выхлестнешь!»

Лес стоит черен, безмолвен, на вершинах гор воздух сух, пылен, пахнет жухлой травой, — в лощинах сыро, холодновато, ползет туман, в лощинах кричат, незнакомые какие-то птицы — («эх, прекрасны волжские ночи!»). Конским потом пахнет крепко, лошади дорогу знают.

— Эх, и сволочь же мужичишки! Ведь не столько пользуются, сколько повалят и намнут! — Сознательности в мужике нет никакой! — Илюхина мужики связали, как разбойника, увезли в село, а жену с ребятами заперли в сторожке, приставили караул, — сын Ванятка подлез в подпол, там собака нору прорыла, норой — на двор, да к Конькову. А то бы не дознались. И так кажинную ночь стерегись!

Верховых догнал Кузя, бежал рысью, сказал Егору:

— Ягорушка, теперь ты побежи, а я поеду, отдохну малость.

Егор слез с лошади, побежал за верховыми. Кузя поудобнее размял мешок на лошади, уселся, отдышался, сказал весело:

— Вот бы теперь хорovou грянуть, как разбойники! — и свистнул в темноту леса длинным разбойничьим посвистом: захлопала крыльями рядом во мраке большая какая-то птица.

...На опушке Красного Лога редкою цепью залегли полесчики еще с вечера. В зеленую стену леса, в квадраты лесных просек, в лощину меж гор уходила дорога. Было все очень просто. Солнце село за степь; — отбыла та минута, когда — на минуту — и деревья, и травы, и земля, и небо, и птицы — затихают в безмолвии, синие пошли полосы по земле; — из леса на опушке вылетела сова, пролетела безмолвно и тогда прокричала в лесу незнакомая ночная птица. И тогда далеко в степи, на перевале, увиделся в пыли мужичий обоз. — Но его прикрыла ночь, и только через час докатились до опушки несложные тарахтенья и скрипы деревянных российских обозов. Потом пыль

уперлась в лес, скрипы колес, тарахтения ободьев, конские храпы, челoveчьи шопоты, плач грудного ребенка, — стали рядом, уперлись в лес. — Два древних дуба у проселка на просеке — у самого корня подшлены, — только-только толкнуть — упадут, завалят, запрудят дорогу.

Тогда из мрака строгий объезничий окрик:

— Э-эй! Кадомские! мужики! Не дело, верти назад! —

И тогда от обоза — сразу — сотнеголосый хор и хохот, слов не понять и непонятно: — люди ли кричат, иль лошади и люди заржали в перекрик друг другу; — и обоз ползет все дальше. Тогда — два смельчака, мастеровые, Кандин и Коньков — последнее усилие, храбрость, ловкость — валят на дорогу колоды древних двух дубов; и судорожно бабахнули два выстрела по небу. От мужичьего стана — бессмысленно, по лесу — полетели наганные, винтовочные, дробовые перестрелы. Пол-обоза стало, лошади полезли на задки телег. — «Сворачивай!» — «Верти назад!» — «Пали!» — «Касатики, вы бабу задавили!» — «Попа, попа держи!» — Лес темен, непонятен, — на просеке лошадь не своротишь, лошади шарахаются от деревьев, от выстрелов, оглобли упираются в стволы, трещат на пнях колеса. — «Да лошадь, лошадь не замайте! хомут порвешь, ты, сволочь!» — Непонятно, кто стреляет и зачем? —

К рассвету прискакал Некульев. У опушки горел костер. У костра сидели полесчики, пели двое из них тягучую песню. Валялась у костра куча винтовок. На полянке стояли понуро телеги и лошади. Стояли в стороне под стражей мужики, бабы, подростки и поп. Рассвет разгорался над лесом. Невеселое было зрелище дикого становища. — Некульеву пошел навстречу Кандин, вместе с ним приехавший оберегать леса, отвел в сторону, расстроено и шопотом заговорил:

— Получилась ерунда. Вы понимаете, мы преградили дорогу, свалили два дуба, думали телег штук пять аресто-

вать, отделили их дубами. Для острастки я выстрелил. Больше мы не выпустили ни одного патрона. Стреляли сами мужики, убили мальчика и лошадь, одну лошадь раздавили. Когда началась ерунда, я думал удалиться по-добру, по-здорову, чтобы мужики разобрались сами собой, чтобы наши концы в воду, — но тут уже не было возможности сдерживать наших ребят, начали ловить, арестовывать, отбирать оружие... —

У Некульева в руке был наган, он сказал растерянно:

— Фу-ты, чорт, какая ерунда!

Мужики повалили к Некульеву, повалились в ноги, замолили:

— Барин, кормилец, касатик! — Отпусти Христа ради. — Больше никогда не будем, научены горьким опытом!

Некульев заорал, — должно быть злобно:

— Встать сию же минуту! Чорт бы вас побрал, товарищи! Ведь русским языком сказано — лесов грабить не дам, ни за что! — и недоуменно, должно быть: — а вы тут вот человека убили, эх!.. где мальчонка?!. — Все село телеги перепортило, эх!

— Отпусти Христа ради! — Больше никогда не будем!..

— Да ступайте пожалуйста — человека от этого не вернешь, — поймите вы Христа ради, что хочу я быть с вами по-товарищески! — и злобно: — а если кто из вас меня еще хоть раз назовет барином или шапку при мне с головы стащит, — расстреляю! — Идите пожалуйста, куда хотите.

Коньков, коммунист, приехавший с Некульевым храниль леса, спросил — со злобой к Некульеву:

— А попа?!

— Что попа?

— Попа никак нельзя отпускать! Его, негодяя, надо в губернскую чеку отослать!

Некульев сказал безразлично:

— Ну, что же, шлите!

— Чтобы его, мерзавца, там расстреляли!

Солнце поднялось над деревьями, благостное было утро, и невеселое было зрелище дикого становища.

И опять была ночь. Безмолвствовал дом. Некульев подошел к окну, стоял, смотрел во мрак. И тогда рядом в кустах — Некульев увидел — вспыхнул винтовочный огонек, раскатился выстрел, и четко чокнулась в потолок пуля, посыпалась известка. — Стреляли по Некульеву — —

И бодрое было солнечное утро, был воскресный день. Некульев был в конторе. Приводили двух самогонщиков, Егор тащил на загорбке самогонный чан. — Приехал из Вязовов Цыпин, передал бумагу из сельского совета, — «ввиду постановки вопроса об урегулировке леса, немедленно явиться для доклада тов. Некульеву». — Цыпин был избран председателем сельского совета. — Некульев поехал, ехали степью, слушали сусликов; Цыпин рассказывал про охоту, был покоен, медлителен, деловит. — И потом, когда Некульев вспоминал этот день, он знал, что это был самый страшный день в его жизни, и от самой страшной — самосудной — смерти, когда его разорвали б на куски, когда оторвали б руки, голову, ноги, — его спасла только глупая случайность — человеческая глупость. — В степи удушьем пищали суслики. В селе на площади перед церковью и пред советом толпились парни и девки, и яро наяривал в присядку паренек — босой, но в шпорах! — Некульева шпоры эти поразили, — он слез с телеги, чтобы внимательно рассмотреть: — да, именно шпоры на босых пятках, — и лицо у парня неглупое. — А в совете ждали Некульева мужики. Мужики были пьяны. В совете нечем было дышать. В совете стала тишина, когда вошел Некульев, — Некульев не слышал даже мух. К столу вместе с ним прошел Цыпин, — и Некульев увидел,

что лицо Цыпина, бывшее всю дорогу медлительным и миролюбивым, стало хитрым и злобным. Заговорил Цыпин:

— Чего там, мужики! Собрание открыто! Вот он, — приехал! А еще коммунист! Пуцай говорит, что знает — —

Некульев ощупал в кармане револьвер, вспомнились шпory, шпory спутали мысль. Некульев заговорил:

— В чем дело, товарищи? Вы меня вытребовали, чтобы я сделал доклад — —

— Ляса теперь наши, жалам их по закону разделить по душам!..

Перебили:

— По дворам!

Заорали:

— Нет, по душам!

— Нет, по дворам!

— Нет, говорю, по душам!

— Да что с им говорить, ребята! Бей лесничего своим судом!

Некульев кричал:

— Товарищи! Вы меня вытребовали, чтобы я сделал доклад... Страна наша степная, лесов у нас мало. У нас, товарищи, гражданская война, вы что — помещиков желаете?! Если леса все вырубить, их в сорок лет не поправишь. Леса валить надо с толком, по плану. У нас гражданская война, уголь от нас отрезан. Эти леса держат весь юго-восток России. Вы — помещиков желаете?! Лесов воровать я не дам — —

— Мужики! Теперь все наше! Пуцай даст ответ, почему кадомские могут воровать, а мы нет!.. Откуда он взялся на нашу голову?!

— Жалам своего лесничего избрать!

— Бей его, робята, своим судом!

Некульев запомнил навсегда эти дикие, пьяные глаза, полезшие ненавистью на него. Он понял тогда, как пахнет

толпа кровью, хотя крови и не было — Некульев кричал почти весело:

— Товарищи, к чорту, тронуть себя я не дам, — вот наган, сначала лягут шестеро, а потом я сам себя уложу! —

Некульев придвинул к себе стол, стал в углу за столом с наганом в руке. Толпа подперла к столу.

Завопил Цыпин:

— Минька, беги за берданкой, — посмотрим, кто кого подстрелит!

— Стрели его, Цыпин, своим судом!

Некульев закричал:

— Товарищи, черти, дайте говорить!

Толпа подтвердила:

— Пуцай говорит!

— Что же вы — враги сами себе? Я вот вам расскажу. Давайте толком обсудим, меня вы убьете, что толку?.. Вы вот садитесь на места, я сяду, поговорим — Некульев тот день говорил обо всем, — о лесах, о древонасаждениях, о коммунистах, о Москве, о Брюсселе, о том, как строятся паровозы, о Ленине, — он говорил обо всем, потому что, когда он говорил, мужики утихали, но как только он замолкал, начинали орать мужики о том, что — что, мол, говорить, бей его своим судом! — и у Некульева начинала кружиться от запаха крови голова. Цыпин давно уже сидел на пороге в дверях с берданкой. День сменился стрижеными сумерками. Мужики уходили, приходили вновь, толпа пьянела. Некульев знал, что уйти ему некуда, что его убьют, и много раз, когда пересыхало в горле, надо было делать страшные усилия, чтобы побороть гордость, не крикнуть, не послать всех к чорту, не пойти под кулаки и продолжать — говорить, говорить обо всем, что влезет в голову. —

Некульева спасла случайность. В дом ввалилась компания «союза фронтовиков», молодежь, пьяным-пьяна, с гар-

монией; их коновод — должно быть председатель — влез на стол около Некульева; он был бос, но со шпорами: — он осмотрел презрительно толпу и заговорил авторитетно:

— Старики! Вам судить лесничего, товарища Некульева, нельзя! Его судить должны мы, фронтовики. Вон — Рыбин орет более всех, а отсиживал он у лесничего в холодной или нет?! — Нет! — Судить могут только которые попадались на порубках, а которые не попадались — катись отсели на легком катере. А то голыми руками хотят лес забрать! Как мы попадались на порубках его в холодную, — леса нам в первую очередь и нам его судить. А Цыпина судить вместе с им, как он ему первый помощник и сам леший!

Стрижинный вечер сменился уже кузнечиковой ночью. — Парень был пьян, около него стояли, тоже пьяные, его друзья. Тогда пошел ор: «Вре!» — «Правильно!» — «Бей их!» — «Цыпина лови, старого чорта!» — И тогда началась свальная драка, полетели на стороны бороды, скулы, синяки, захряскал тяжелый кулачный бой. — Некульева забыли. Некульев — очень медленно, совсем точно он недвижим, полушаг в полушаг — подобрался к окну и — стремительно кошкой бросился в окно. — Никогда так быстро, так стремительно — бессмысленно — не бегал Некульев: он вспомнил, осознал себя только на заре, в степи, в удушливом сусличном писке —

(В сельском совете, за дракой, не заметили, как исчезнул Некульев, — и в тот вечер баба Груня, жена рыбака Старкова, а наутро уже много баб говорили, что видели своими глазами — вот провалиться на этом месте, если врут — как потемнел Некульев, натужился, налились глаза кровью, пошла изо рта пена, выросли во рту клыки, стал Некульев черен вроде чернозема, — натужился — и провалился сквозь землю, колдун) —

И такой был случай с Некульевым. Опять, как десяток раз, примчал объездчик, сообщил, что немцы из-за Волги

на дощаниках поплыли на Зеленый Остров пилить дрова. Некульев со своими молодцами на своем дощанике поплыл спасать леса. Зеленый Остров был велик, причалили и высадились лесные люди незаметно, — был бодрый день, — пошли к немцам, чтобы уговорить, — но немцы встретили лесных людей правильной военной атакой. Некульев дал приказ стрелять, — от немцев та-та-такнул пулемет, и немцы двинулись навстречу организованнейшей цепью, немцы наступали по всем военным правилам. И Некульев и его отряд остались вскоре без патронов и стали пред дилеммой: — или сдаться, или убежать на дощанике; — но дощаник был очень хорошей мишенью для пулемета, — лесники заверили, что, если немец разозлится, он ничего не пожалеет. — Немцы взяли в плен лесных людей. Немцы отпустили всех, но забрали с собой за Волгу, кроме лесов, дощаник и Некульева. — Некульев пробыл у немцев в плену пять дней. Его — по непонятным для него причинам — выкупил Вязовский сельский совет во главе с Цыпиным (Цыпин и приезжал за Волгу в качестве парламентаря). — Пассажирский пароход на всю эту округу оставливался только в Вязовах: — вязовские мужики заявили немцам, что, — ежели не отпустят они Некульева, — не будут пускать они немцев на свою сторону, как попадетя немец — убьют: немцам необходимо было отправлять на пароход масло, мясо, яйца, — немцы Некульева отпустили —

ГЛАВА ВТОРАЯ — НОЧИ, ПИСЬМА И ПОСТАНОВЛЕНИЯ

Вечером пришел Кандин, привел порубщика; порубщик залез на дерево, драл лыко, оборвался, зацепился оборками от лаптей за сучья, повис, у него вытекли глаза. Некульев приказал отпустить порубщика. Мужик стоял в темноте, руки по швам, босой, покойно сказал:

— Мне бы провожатого, господин-товарищ, — глаза-те у меня вытекли.

Некульев наклонился к мужику, увидел дремучую бороду, — пустые глазницы уже затянулись. Шапку мужик держал в руках, — и Некульеву стало тошно, повернулся, пошел в дом. —

Дом был чужд, враждебен: в этом доме убили князя, в этом доме убили его, Некульева, предшественника: — дом был враждебен этим лесам и степи: Некульеву надо было здесь жить. Опять была луна, и колодись под горой на воде сотни лун. Некульев стал у окна, пересыпал песочные часы, — отбросил часы от себя — и они разбились, рассыпался песок...

Когда бывали досуги, Некульев забирался в одиночестве на вершину Медынской горы, на лысый утес, разжигал там костер и думал, сидя у костра; оттуда широко было видно Волгу и Завольжье, и там горько пахло полынью. — Некульев вышел из дому, прошел усадьбой — у людской избы на пороге сидели Маряша и Катяша, на земле около них — Егор и Кузя, — и сидел на стуле широкоплечий мужичище, не по-летнему в кафтане, и в лаптях с белыми обмотками. — Некульев вернулся с горы поздно.

У людской избы было мирно. Луна поблескивала в навозе перед избой. За избой вверх к лесам шла гора, заросшая орешником и нектеном, — Маряша все время прислушивалась к колокольчику в орешнике, чтобы не зашла далеко корова. Дверь в избу была открыта, и там стонал ослепший мужик. Кузя встал с полена, лег на навоз перед порогом, стал продолжать сказку.

— ...ну вот, шашть Аннушка — да прямо в третью церкву, а ей навстречу третий поп: — «Так и так, здравствуй, Аннушка!», — а потом в сторону: — «Не желаешь ли ты со мной провести время те-на-те?» — Так Аннушке и не пришлось побывать у обедни, пришла домой и плачет,

кетати сказать, от стыда. Неминуемо — заметьте — рассказала мужу. А муж Илья Иваныч, человек рассудительный, говорит: «Иди в церкву, жди, как поп от обедни пойдет, и сейчас ему говори, чтобы, значит, приходил половина десятого. А второму попу, чтобы к десяти, а третьему — и так и далее. А сама помалкивай». — Пошла Аннушка, поп идет из церкви: — «Ну, как же, Аннушка, насчет ворьки?» — «Приходите, батюшка, вечером в половине десятого, — муж к куму уйдет, пьяный напьется». — И второй поп навстречу: — «Ну, как же, Аннушка, насчет переночевать?» — Ну, она, как муж, и так и далее... — Пришел вечер, а была, кетати сказать, зима лютая, крепенские морозы. Пришел поп, бороду расправил, перекрестился на красный угол, вынает — заметьте! — из-за пазухи бутылку, белая головка. — «Ну, говорит, самоварчик давай поскорее, селедочку, да спать». — А она ему: — «Чтой-то вы, батюшка, ночь-то длинная, наспимся, попитайтесь чайком», — ну, кетати сказать, то да се, семеро на одном колесе. Только что поп разомлел, рядом уселся, руку за пазуху к ей засунул, — стук-стук в окно. Ну, Аннушка всполошилась — «ахти, мол, муж!» — Поп под лавку было сунулся, не влезает, кряхтит, испугался. А Аннушка говорит, как муж велел: — «Уж и не знаю, куда спрятать? — Вот нешто на подоловке муж новый ларь делает, — в ларь полезай». — Спрятался первый поп, а на его место второй пришел, тоже водки принес, белая головка. И только он рукой за пазуху, — стук-стук в окно. — Ну и второй поп в ларе на первом попу оказался, лежат друг на друге, шепчутся, щипаются, ругаются. А как третий поп начал подвальяживать — стук в казлитку, муж — кричит вроде вышимши — «жена, отворяй!» — Так три попа и оказались друг на друге. Муж, заметьте, Илья Иваныч, в избу вошел, спрашивает жену, шепчет: — «В ларе?» — Аннушка отвечает: — «В ларе!» —

Ну, тут муж, Илья Иваныч, как пьяный, з кураж вошел. — «Жена, говорит, желаю я новый ларь на мороз в амбар поставить, овес пересыпать!» — Полез на подоловку. Илья Иваныч так рассудил, заметьте, что отнесет он попов на мороз, запрет в амбаре, попы там на холоду померзнут денек, холод свое возьмет, взбунтуются попы, амбар сломают, побегут, как очумелые, всему селу потеха. Однако, вышло совсем наоборот, не до смеху: стал он тащить ларь с подоловки, — попы жирные, девятипудовые, — не осилил Илья Иваныч, полетел ларь вниз по лестнице. Да так угодил ларь, что ткнулись все попы головами и померли сразу! Да... — Кузя достал кيسет, сел на корточки, стал скручивать собачку, заклеивая тщательно газетину языком, — собрался было рассказывать дальше.

Луна зацепилась за гору. Колокольчик коровы загремел рядом, мирно, корова жевала жвачку. Мимо прошел Некульев, пошел в гору, к обрыву. Замолчали, проводили молча глазами — Некульева, пока он не скрылся во мраке. Сказал шопотом Егорушка:

Гляй, — пошел, Антон-от! Опять пошел — отправился. Костры сжигать... Груня вязовская, знающая бабочка, баит — колдун и колдун. Я ходил, подозревал: наломает сухостою, костер разведет, ляжет возле, щеки упрет и — гляит, гляит на огонь, глаза страшные, и стекла, на носу-те, горят как угли, — а сам травинку жует... Очень страшно!.. — А то встанет к костру спиной, у самого яру, руки назад заложит и стоит, стоит, смотрит за Волгу, как только не оборвется. Ну, меня страх взял, я ползком, ползком, до просеки, да бегом домой. Гляжу потом, идет домой, вроде, как ничего.

— И к бабе своей ездит, — сказал Кузя. — Приедет, сейчас в степь гулять, за руки возьмутся. И тоже, заметьте, костер раскладывать... Пошли они раз к рощице, я спрятался, а они сели — ну, в двух шагах от меня, никак не

дале, двинуться мне невозможно, а меня мошка жигат. Начали они про коммуны говорить, поцеловались раз, очень благородно, терпят, — а мне нет никакого терпенья, а двинуться никак нельзя, я и говорю: — «Извините меня, Антон Иваныч, мошка заела!» — Она как вскочит, на него — «это что такое?» — сердито так. — Мне он ничего не сказал, как бы и не было...

— Надоть идтить часы стоять, — пойду я, досвиданьяца, — сказал старик в кафтане.

— И то ступай с богом, спать надоть, — отозвалась Маряша и зевнула.

Кузя высек искру, запалил трут, раскурил цыгарку, осветились его кошачьи усы. —

— Так, стало-ть, кетати сказать, мужику в смысле глаз помочь никак невозможно? — строго спросил он, — ни молитвой, ни заговором?

— Помочь ему никак нельзя, леший глаза вылупил. Надоть подорожником прикладывать, чтобы мозги не вытекли, — сказал старик. — Прощевайте! — старик поднялся, пошел неспеша, с батоном в руке, вниз к Волге, светлели из-под кафтана белые обмотки и лапти.

Вслед ему крикнула Катяша: — «Отец Игнат, ты, баю, зайди, у моего бычка бельма на глазах, полечи!»

Заговорил напевно Кузя: — «Да-а, вот, кетати сказать, выходит, хотел Илья Иваныч над попами потешаться, а вышло совсем наоборот»...

— Я тебе яичек принесла, Маряш, — сказала, перебивая Кузю, Катяша. — Для барина. Ты почем емуносишь?

— По сорок пять.

— Я за двадцать у немцев взяла. Потом сочтемся.

— У тебя, Ягорушка, как в смысле хлеба? — спросил Кузя.

— Хлеба у нас нет, все на избу истратили. Мужик лесу теперь не берет, — сам ворует. В смысле хлеба — табак.

Вот брату моему в городе повезло, прямо сказать, счастье привалило. Приходит к нему со станции свояк, говорит: — «Вот тебе сорок пудов хлеба, продай за меня на базаре, отблагодарю, — а мне продавать никак некогда». Ну, брат согласился, продал всю муку, деньги в бочку, в яму, — осталось всего три пуда. Тут его и сцапали, брата-то, — милиция. Мука-то выходит ворованная, со станции. Ну, брата в холодную. — «Где вся мука?» — «Не знаю». — «Где взял муку?» — «На базаре, у кого — не припомню». Так на этом и уперся, как бык в ворота, свояка не выдал; три недели в тюрьме держали, все допрашивали, потом, конечно, отпустили. Свояк было к нему подкатился, — а он на него: — «ах ты, пятая нога, ворованным торговать?! — в ноги кланяйся, что не выдал!» — «А деньги?» — «Все, брат, отобрали, бога надо благодарить, что шкура цела осталась»... — Свояк так и ушел ни с чем, даже благодарил брата, самогон выставлял... А брат с этих денег пошел и пошел, торговлю открыл, в галошах ходит — прямо с неба свалилось счастье. — Егор помолчал. — Яйца у меня в картузе восемь штук — возьми, Марьяш.

— Лесничий, кетати сказать, как приехал, — прямо все масло да яйца, хлеб ест без оглядки, с собой привез. И все примечает, все примечает, глаз очень острый, заметьте, — сказал Кузя.

— И ист, и ист, все сметану, да масло, да яйца, — прямо господская жизнь! — оживленно заговорила Марьяша. — Крупы привез грешенной, отродясь не видала, у нас не сеют, — варила, себе отсыпала, ребята ели, как сахар, облизывались. И исподнее велит стирать с мылом, неделю проносит и скинет, совсем чистое, — а с мылом!.. Я посуду мыла, а он бает — «Вы ее с мылом моете», — а я ему: — «что-е-те мыло, баю, у нас почитатца поганым!..»

В избе вдруг полетело с дребезгом ведро, пискнул раздавленный цыпленок, закудахтали курица, — на пороге

появился мужик, тот, что ослеп, — с протянутыми вперед руками, в белой рубаше, залитой кровью, — бородастая голова была запрокинута вверх, мертвых глазниц не было видно, руки шарили бессмысленно. — Мужик заорал визгливо, в неистовой боли и злобе:

— Глазыньки, глазыньки мои отдайте! Глазыньки мои острые!.. — упал вперед, в навоз, споткнувшись о порог.

— Вперед лыка не дери, — успокоительно сказал Кузя. — Видишь, отца звали, сказал, ничего не выйдет.

Бабы и Кузя потащили мужика обратно в избу. Егорушка отходил несколько шагов от избы, к амбару, к обрыву, помочиться, вернулся, раздумчиво сказал: — «Потух костер-от, идет, значит, назад. Спать надоть», — зевнул и перекрестил рот. — «Отдай тогда яички, сочтемся». — Егор и Катяша пошли к себе на другой конец усадьбы в сторожку. Кузя в людской зажег самодельную свечу, снял картуз; — побежали по столу тараканы. На постели, на нарах стонал мужик. На печи спали дети. Висела посреди комнаты люлька. Кузя из печки достал чугунок. Картошка была холодная, насыпал на стол горку соли (таракан подбежал, понюхал, медленно отошел), — стал есть картошку, кожу с картошки не снимал. Потом лег, как был, на пол против печки. Марьяша тоже поела картошки, сняла платье, осталась в рубашке, спиной из мешка, распустила волосы, качнула люльку, — кинула рядом с Кузей его овчинную куртку, дунула на свечу и, почесываясь и вздыхая, легла рядом с Кузей. Вскоре в люльке заплакал ребенок, — в невероятной позе, задрав вверх ногу, ногою стала Марьяша качать люльку — и, качая, спала. Прокричал мирно в коридоре петух.

Наутро и у Кузи, и у Егорушки были свои дела. Марьяша встала со светом, доила корову; бегали по двору за ней ее трое детей, мытые последний раз год назад и с огромными пузами; шестилетняя старшая — единственно

говорившая — Женька, тащила мать за подол, кричала «аря-ря-ря, тяття, тяття» — просила молока. Корова переходила, молока давала мало, — Маряша молока детям не дала, поставила его на погреб. Потом Маряша сидела на террасе у большого дома, подкарауливала, скучая, когда проснется лесничий, гнала от себя детей, чтобы не шумели. Лесничий, бодрый, вышел на солнышко, пошел на Волгу, купаться. Лесничий поздоровался с Маряшей, — Маряша хихикнула, голову опустила долу, руку засунула за кофту, — и со свирепым лицом — «кыш вы, озари!» — стремительно побежала в людскую, потащила на террасу самовар, потом с погреба отнесла кринку с молоком, и — в подоле — восемь штук яиц. Проходила мимо с ведрами Катяша, сказала ядовито и с завистью: — «Старайси? Спать с собой скоро положит!» — Маряша огрызулась: — «Ну-к что ж, что ж, — мене, а не тебе!» Было Маряше всего года двадцать три, но выглядела она сорокалетней, высока и худа была, как палка. — Катяша же была низка, ширококостна, вся в морщинах, как дождевой гриб, как и подобало ей быть в ее тридцать пять лет.

Кузя поутру ушел в лес; винтовку на веревочке вниз дулом повесил на плечо, руки спрятал в карманы; шел неспеша, без дороги, ему одному знакомыми тропинками, поглядывал степенно по сторонам. Спустился в овраг, влез на гору, зашел в места, совсем забытые и заброшенные, глухо росли здесь дубы и клены, подрастал орешник, — стал спускаться по обрыву, цепляясь за кусты, посыпался пыльный щебень. Нашел в старой листве змеиную выползину, змеиную кожу, подобрал ее, расправил, положил в картуз за подкладку, — картуз надел набекрень. Прошел еще четверть версты по обрыву и пришел к пещере.

Кузя окликнул:

— Есть, что ли, кто? Андрей, Васятка?

Вышел парень, сказал:

— Отец на Волгу пошел, сейчас придет.

Кузя сел на землю около пещеры, закурил, парень вернулся в пещеру, сказал оттуда:

— Может, хочешь стаканчик свеженькой?

Кузя ответил:

— Не.

Замолчали, — из пещеры душно пахло сивухой. Минут через десять из-под горы пришел мужик, с бородой в аршин.

Кузя сказал:

— Варите? — Хлеб у меня весь вышел, ни муки, ни зерна. Достань мне, кстати сказать, пудика два. Потом Егор влазины справлять будет, нужен ему самогон, самый лучший. Доставь. Лесничий после обеда на корье поедет, на обдирку, а потом к бабе своей завернет. В это время и снорови, отдашь Маряше.]

Поговорили о делах, о дороговизне, о качестве самогона. Распрощались. Вышел из пещеры парень, сказал:

— Кузь, дай бабахнуть!

Кузя передал ему винтовку, ответил:

— Пальни!

Парень выстрелил, — отец покачал сокрушенно головой, сказал:

— В дizeках ведь ходит, Василий-то....

На обратном пути Кузя заходил в Липовую долину на пчельник к Игнату, покурили. Игнат, по прозвищу Арендатель, сидел на пне и рассуждал о странностях бытия: — «например, раз сижу вот на этом самом пне, а мне чижик с дерева говорит: — «пить тебе сегодня водку!» Я ему отвечаю: — ну, что, мол, ты глупость говоришь, кака еще така водка?.. — Ан, вышло по его: пришел вечером кум и принес самогонки!.. Птица — она премудрость божия. Или, например, раз, твой новый барин; зашел я к нему, разговорились; — я его спрашиваю, как он понимает, при венчании вокруг наложя посолонь надо ходить или

против солнца? — А он мне в ответ: — ежели, говорит, в таком деле с солнцем надо считаться, то придется стоять на одном месте и чтобы на той вокруг тебя носили; потому как солнце в небе неподвижно, а вертится земля. — Отпалил, да-а! А я ему: — А как же, например, раз, Иус Навин, выходит, землю остановил, а не солнце?.. И все это пошло от Куперника. Этого Куперника на костре сожгли; мало, я бы его по кусочкам, по косточкам, изрезал бы, своими руками... А табак — это верно, чортова трава. Я тут посадил себе самосадки, для курева, две колоды меда пришлось выкинуть, мед табаком пропах...»

Уже совсем дома, у самой усадьбы Кузя напал на полянку со щавелем, — лег на землю, исползал брюхом всю полянку, ел щавель. Дома Марьяна дала мурцовки. Поел и пошел чистить лошадь, выскреб, обмыл, стал запрягать в дрожки. Вышел из дома Некульев, — поехали в леса.

Катяша и Егорушка на селе строили новый дом. Постройка была кончена, оставалось отпавить влазины и освятить. Давно уже Егорушка изготовил из княжеского шкафа — из красного дерева — кивот, — и с самого утра, подоив корову, Катяша занималась его уборкой. Непонятно, как у нее имелись этикетки пивоваренного завода «Пиво Сокол на Волге», с золотым соколом посредине: — Катяша расклеивала их по кивоту, по красному дереву, вдоль и поперек, и вверх ногами, потому что грамотной она не была. И у Егорушки, и у Катяши был праздник — влазины; Некульев дал Егору опуск на неделю. Утром же Егорушка и Катяша ходили к Игнату на пчельник узнавать свою судьбу. Игнат изводил их страхом. Игнат сидел в избе на конике, — на Егорушку и Катяшу даже не взглянул, только рукой махнул, — садитесь, мол. Между ног у себя Игнат поставил глиняный печной горшок, стал смотреть в него и говорить, — не весть что. Плюнул направо, налево, в Катяшу (та утерлась покорно), и на-

чалось у Игната лицо корчиться судорогами. Потом встал из-за стола и пошел в чулан, поманил молча Егора и Катяшу; там было темно и душно, и удушливо пахло медом и пересохой травой. Игнат взял с полки две церковные свечи, взял за руки Егора и повернул его на месте три раза, посолонь, — поставил его сзади себя, перегнулся вперед и начал замысловато скручивать свечи, — одну свечу дал Егору, другую — Катяше: сам же стал что-то поспешно бормотать; затем свечи опять отобрал себе, сложил обе вместе, взял руками за концы, уцепился зубами за середину, очерились зубы, перекошилось лицо: — и Егорушка и Катяша безмолвствовали в благоговейном ужасе: — Игнат зашипел, заревел, заскрежетал зубами, глаза — так показалось в темноте и Егорушке, и Катяше — налились кровью, закричал:

— Согни его судорогой, вверх тормашками, вверх ногами. Расшиби его на семьсот семидесят семь кусочков, вытяни у него жилу живота на тридцать три сажени!

Потом Игнат совершенно покойно объяснил, что жить «в новом доме» они будут хорошо, сытно, проживут долго, сноха будет черноволосая, и будет только одно несчастье «через темное число дней, и ночей и месяцев», — ослепнет бычок, придется пустить его на мясо. — Катяша и Егорушка шли домой радостные, дружные, чуть подавленные чудесами, — свечи Игнат им отдал и научил, что с ними делать: в новом доме подойти к воротному столбу, зажечь там свечу и погасить столб, а потом с зажженной свечой пойти в избу, прилепить там свечу к косяку и так три ночи под ряд, и так спорозить, чтобы последний раз сгорели свечи дотла и потухли б сразу, — первые же два раза тушить свечи левой рукой, обязательно большим и четвертым пальцами, — и чтобы не ошибиться, а то отпадут пальцы.

Некульев уже уехал, когда вернулись Катяша и Егор, принесли Егору ведро самогону. Егор стал запрягать лошадь, Катяша задержалась, замешкалась со сборами, наклеивала на кивот — «Пиво Сокол на Волге», «Пиво Сокол на Волге». Егорушка от нечего делать ходил в барский дом, зашел в комнату, где поселился Некульев, потрогал его постель, прилег на нее, примериваясь; на столе лежали недоеденная сметана и в коробке из-под монпасье сахарный песок, — слюнил палец и тыкал им сначала в сметану, потом в сахар, — потом облизывал палец; на окне лежали зубной порошок, щетка, бритва: Егорушка задержался тут недолго, — попробовал порошок, пожевал его и выплюнул, помогав недоуменно головой, — взял зеркальце и зубной щеткой разгладил себе бороду и усы; — лежала около зеркальца безопасная бритва, рассыпаны были ножички, — Егорушка все их осмотрел, пересчитал, выбрал, какой похуже, и спрятал его себе в карман; в конторе Егорушка сел за письменный стол Некульева, сделал строгое лицо, оперся о ручки кресла, расставив локти и ноги, и сказал: — «Ну что, которые там, лесокрады! — Выходи!..» — В семейных отношениях Егорушки главенствовала Катяша; — вскоре перед их избой стоял воз; были на возу и кивот «в Соколах на Волге», и поломанное кресло с золоченой спинкой, и две корзинки — одна с черным петухом (вымененным у Маряши), другая с черным котом (прибереженным еще с весны; кот и петух нужны были для влази), — и сундук с Катяшиным — еще от девичества — добром; — и на самом верху воза сидела сама Катяша, уже подвыпившая самогону, она махала красным платочком, приплясывала сидя, орала «саратовскую», — «шарабан мой, шарабан»... — Маряша с детишками стояла рядом с возом, смотрела восхищенно и завистливо; Катяша смолкла, покрестилась; покрестились и Егор, и Маряша, и дети; —

Катяша сказала: — «Трогай с богом!» — Попросила Маряшу: — «За скотиной ты посмотри, Игнат придет навещаться, покажи!..» — Поехали; Егор пошел с вожжами пешим, опять завизжала Катяша: — «Шарабан мой, американка, а я девчонка-шарлатанка!..» — —

При Некульеве единственное было собрание рабочкома. Собрали его хорошие ребята, мастеровые-коммунисты, Кандин и Коньков. Собрание было назначено на завтра, но многие съехали с вечера, — дальним пришлось проехать верст по сорок. Вечером в парке на крокетной площадке разложили костер, варили картошку и рыбу. У Некульева собирались на «подторжье», чтобы столкнуться перед торгом рабочкома, — кто потолковее и кто коммунисты. Коньков был хмур и решителен, Кандин хотел быть терпеливым; говорили о революции, о лесах и — о воровстве, о небывалейшем воровстве в лесах, — говорили тихо, сидели тесным кругом, со свечой, в зале; Некульев лежал на диване; — сказал тоскливо Коньков: — «Расстреливать надо, товарищи, — и первым делом наших, лесных людей, чтобы была острастка. Что получается? — мы воюем с мужиками, а кто похитрее из мужиков — идет к знакомому леснику, потолкует, сунет пудишко, — и лесник отпускает ему, что только тот захочет, — получается, товарищи, одно лицемерие и чистое безобразие. Простите, товарищи, признаюсь: привязался ко мне шиханский мужик, — дай ему лесу на избу, — день, другой, — я сижу голодный, а он и самогону, и белой, — я так ему морду избил, что отвезли в больницу, — не стерпел!» — Ответил Кандин: — «Я морды бил, прямо скажу, не раз, хорошего в этом мало. Обратное, надо рассудить: — получает лесник жалование, на хлеб перевести, — полтора целковых; на это не проживешь, воровать надо по необходимости, — ты смотри, как живут, свиньи у бар чище жили. В лесном

деле нужна статистика: установить норму, чтобы больше ее не воровали, и виду не показывать, что замечаешь, потому — воруют от нужды. А если больше ворует, — значит, от озорства, — тогда, обратно, можно расстрелять. Святых нет, — а дело делать надо!» — Говорили о рабочкоме. — Рабочком создать необходимо было, чтобы связать всех круговой порукой. Некульев молчал и слушал, свеча освещала только диван, — ни Коньков, ни Кандин не знали, как повести наутро заседание рабочкома, чтобы не оторваться от всех остальных лесных людей. — В парке запели песню и стихли, Некульев пошел к остальным, в парк. У костра сидели люди, все оборванцы, все одетые по-разному, все с вентовками. Против огня лежал Кузя, подпер щеки ладонями, смотрел в огонь и рассказывал сказку. Кричало на деревьях исполошенное костром воронье. Некульев присел к огню, стал слушать.

Кузя говорил:

— ...И выходит, кетати сказать, хотел Илья Иваныч посмеяться над попами, а вышло наоборот. Открыл Илья Иваныч ларь — лежат три попа друг на друге и все мертвые, и холодеют уже на морозе. Испугался Илья Иваныч, отнес попов в амбар, разложил рядышком, — пришел в избу, сел к столу, думает, а самого, заметьте, цыганский пот прошибат... Ну, только Илья Иваныч очень был умный, посидел часик у стола, подумал и — хлоп себя по лбу! Пошел в амбар, попы уже заоченели, — взял одного попа, поставил его около клетки, облил водой, на попе сосульки повисли. Пошел Илья Иваныч тогда в трактир и, заметьте, прихватил с собой бутылочки, которые попы не допили, там гармошка играет, народ сидит, — и у прилавка, кетати сказать, сидит пьяница Ванюша, ждет, как бы ему поднесли. Илья Иваныч к Ванюше: — «Пей!» — дал ему бутылку. Ванюша выпил, пьяный стал, — ему Илья Иваныч и говорит: — «Дал бы еще, да некогда. Надо

иттить — ко мне, вишь, утопленник пришел на двор, надо его в прорубь на Волгу отнести». — Ну, Ванюша вцепился: — «Давай я отнесу, только угости!» — А это самое и надобно было Илье Иванычу, говорит нехотя: — «Ну, уж коли что, из-за дружбы, — отнесешь, придешь в избу, угощу!» — Ванюша прямо бегом побег. — «Где утопленник?» — «Вона!» — Ванюша поца схватил, на плечо и прямо к воротам, — а Илья Иваныч к нему: — «Да ты погоди, надо его в мешок положить, а то народ напугаешь». — Положили, заметьте, в мешок. Ванюша понес, а Илья Иваныч второго попа из амбара выставил, облил водой, ждет. Прибегает Ванюша, прямо в избу: — «Ну, где выпивка?» — А ему Илья Иваныч: — «Нет, брат, погоди, плохо ты его отнес, слова не сказал, — он опять вернулся». — «Кто?» — «Утопленник». — «Где?» — вышли на двор. Стоит поп у клетки. Ванюша глаза вытаращил, рассердился: — «Ах ты, такой-сякой, не слушаться!» — схватил второго попа и побег к проруби, — а Илья Иваныч ему велел: — «Ты как будешь его в воду совать, скажи — удокой, господи, его душу, — он в воду и пойдет!» — Это, чтобы помолиться все-таки за попа. — Только Ванюша со двора, — Илья Иваныч третьего попа ко клетки, — прибегает Ванюша, — а Илья Иваныч ему выговаривает: — «Эх ты, Ванюша! Не можешь утопленника унести, — ведь опять вернулся. Придется мне уж с тобой пойтить, чтобы концы в воду. Неси, а я позадь пойду, посмотрю, как ты там управляешься». — Отнесли третьего попа, посмотрел Илья Иваныч, — спускает попов в воду Ванюша как следует, успокоился и говорит: — «Ну, все-таки ты, Ванюша, потрудился, пойдем — угощу!» — Да так его напоил, что у Ванюши всю память отшибло, забыл, как утопленников таскал. Так что про попов и не дознались, куда их черти дели. — Вот и сказке конец, а мне венец, — сказал Кузя.

Некульев отошел от костра, пошел во мрак, обогнул усадьбу, — пошел на гору, к обрыву, подумать, побыть одному... — Сказка показалась ему нехорошим вещанием.

Утром, на той же крокетной площадке, где многие так у костра и ночевали, собралось человек семьдесят лесников и полесечиков. Под липой поставили стол, принесли скамьи, — но многие лежали и на травке вокруг площадки. Костер не потухал. Винтовки составили — повоенному — в козлы. Избрали президиум.

От этого собрания остался нижеследующий протокол:

СЛУШАЛИ:	ПОСТАНОВИЛИ:
<p>1. Доклад тов. Конькова о международном положении ¹.</p> <p>2. Доклад тов. Кандина о плане работ рабочкома.</p> <p>а) Культурно-просветительная работа.</p> <p>б) Средства рабочкома и расходные статьи.</p> <p>3. Предложение тов. Конькова отчислить от зарплаты в фонд по устройению памятника революции в Москве.</p> <p>4. Донесение председателя Кадомского сельсовета Нефедова о том, что в расчетных ведомостях по 27 кордону были вымышленные фамилии, за которых получал объездчик Сарычев. — Сарычев предъявил вышеупомянутые ведомости и указал, что правильность их заверена печатью и подписью председателя Нефедова, написавшего вышеозначенные донесения.</p>	<p>1. Принять к сведению.</p> <p>2. Ввиду разбросанности лесных людей по лесам культкомиссии не избирать; выписать коллективно на каждую сторожку по газете ²; расходы — 1) канцелярские принадлежности, 2) подвода в город, 3)точные.</p> <p>3. Отчислить однодневный заработок.</p> <p>4. Ввиду несообразности донесения на самого себя — направить дело к доследованию, отслав копию в Угрозыск.</p>

¹ В докладе Коньков сделал ошибку, указав, что Европа и Россия — географически в разных материках.

² Выяснилось, что половина лесников безграмотны. Куващентал, голосуя, Егорушке: — «Ничего, выкурим!»

СЛУШАЛИ:

ПОСТАНОВИЛИ:

5. Дело о племенном быке, съеденном объездчиками и лесниками с 7 кордона; из племхоза был взят плембык за круговой поруккой, — бык был убит и съеден, а в племхоз был направлен акт, что бык умер от сибирки.

6. Пожелание лесника тов. Сошкина не делать общих собраний по воскресеньям ¹.

7. Предложение объездчика Сарычева о вступлении всех сразу в РКП.

5. Ввиду незаконного поступка с быком, с лесников Стулова, Спилицына и Шавеликина и объездчика Усачева удерживать ежемесячно 3-х-дневный заработок и направлять его в кассу племхоза.

6. Утвердить.

7. Оставить вопрос открытым ².

Первое письмо, которое написал Некульев с Медыньских гор, было такое, — он не докончил его:

«...у чорта на куличках, где нет почты ближе как в шестнадцать верстах, а железной дороги — в ста, — в проклятом доме над Волгой, в доме, который проклятье помещиков перенес и на меня, — в жаре и делах, поистине чертовщинных! — Живу я Робинзоном, сплю без простыней, ем сырые яйца и молоко, без варева, хожу полуголый. Кругом меня дичь, срам, мерзость. Ближайшее село от нас — 16 верст, но под обрывом идет — «ве-

¹ Встал тогда на собрании с травки босой паренек в армяке и сказал, волнуясь: — «Я так думаю, товарищи, мы, выходит, пожелаем, чтобы собрание рабочкома не делали в воскресенье, потому, как граждане самовольные порубщики в будни все в поле на работе, их там не поймаешь, — а в воскресенье они сидят дома, тут их и ловить с милицией».

² Товарищи, Кандин тогда говорил, что вопрос вступления в РКП — вопрос совести каждого, — Сарычев обиделся на него, — говорил: — «...а если вы думаете, что кадомский Васья Нефедов, председатель, доносчик, правду на меня наплел, — так он сам первый жулер, а которые фамилии были подписаны, — так они люди странные, теперь уехали домой, на Велдугу!» —

дикий водный путь», и я часто толкую с теми, кто бечевою идет по Волге, таких очень много, каждый день проходит добрые десятка два дощаников, часто около нас отдыхают и варят уху; — так вот дней пять тому назад тащил бечевою мужик свою жену, привязанную к дощанику; он мне сообщил, что в его жену вселилось три чорта, один под сердце, другой в «станову жилу», третий — подмышку, — а верстах в ста от нас есть замечательный знахарь, который чертей может изгонять, — так вот он к нему и везет жену; вчера он возвращался обратно, в ляме шла уже его жена, а он барствовал на дощанике, — сообщил, что черти изгнаны. — Люди, с которыми я живу, — это два лесника с женами и детьми. Один из них построил себе избу из краденого леса, который он же призван охранять, и обставил ее обломками мебели из усадьбы; — но это не главное, а главное то, что, прежде чем вселиться в избу, он пускал туда черную кошку и петуха, а под печку клал краюху хлеба с солью — для домового, а жена его — голая — обегала дом, чтобы «отворотить глаз». У него заболел бычок, заслезилась глаза, — ветеринар уж не так далеко, в Вязовах, — но он позвал местного знахаря (этот знахарь, мужик — арендатор пчельника, приходил раза два ко мне поговорить, — я и не полагал, что он колдун, — мужик, как мужик, только чуть похитрее, грамотен и болтает что-то про Коперника), — так знахарь бычка осмотрел, нашептал что-то, снял (!) какую-то пленку (!) с глаз у бычка, посыпал солью, — и бычок ослеп! — тогда Катяша, жена Егора, достала «змеиной выползины», высушила, истолкла в порошок и этой змеиной выползиной — лечит бычка, присыпает ему ослепшие уже глаза. Жену второго лесника зовут Маряшей; сначала я ее звал Машей, — она сказала мне: — «И что-е-те как вы зовете меня? Мене все зовут Маряшей!» — Детей у нее трое, лет ей 23, — моей «жи-

сти» она завидует до слюней: — «и-и-иди, и все те с маслом, и молока сколько душа жалат!» — Детям своим молока она не дает, продает мне: мне противно, но я знаю, — если я не буду брать у нее, то умру с голоду, ибо вечно так голодать, как они, не умею, — а она молоко оставит на масло и творог — и все равно продаст. Маряша ни разу не была в городе, в своем уездном городе, в тридцати верстах; у нее в живых трое детей, которые ходят голыми, еще двое померли, ей 23, и у нее уже женская какая-то болезнь, про которую охотно рассказывает всем ее муж Кузя, — и ни одного ребенка не принимала у нее даже — знахарка-бабка: сама родила, сама резала пуповину, сама мыла за собою кровь, отсылая мужа на этот случай в лес. Дикарство, ужас, — чорт знает, что такое! — Ко мне отношение такое. — Вчера приходил немец из-за Волги, предложил масла; я спросил, — почему? — «Как раньше брали, по 25». — А с меня Маряша и Кузя и Катяша брали по шестидесяти. У меня лопнуло терпенье, я позвал Маряшу и Катяшу и сказал им — как им не стыдно, ведь вижу я, как они обманывают и обворовывают меня на каждом шагу и на каждой мелочи, — ведь я же потоварищески и по-хорошему держу себя с ними и буду вынужден считать их за воровок и не уважать, — этакое лирическое нравоучение прочел им! — Не сморгнули: — «Мы понарошку зато, нарочно мы, то есть!..»

«А к обеду в этот день вдруг стерлядку мне: — «это мы тебе в подарок!» — Послал я их к чорту со стерлядками. Я для них: — барин и больше ничего, — я не пашу, мою белье с мылом, делаю непонятные им вещи, читаю, живу в барском доме, стало быть, — барин; заставляю я ходить их на четвереньках — пойдут, заставляю вылизать пол — вылизуют, и сделают это на 50% из-за рабственного страха, а на 50 — из-за того, что: — может, барину это и всерьез надо, ибо многое из того, что делаю я, что делаем мы, им

кажется столь же нелепым, как и лизание полов, — делают все что угодно, — но у меня выработалась привычка все время быть так, чтобы за спиной у меня никого не было, ибо я не знаю, не покажется ли в данную минуту Катяше или Кузе необходимым сунуть мне в спину нож: быть может, излишняя осторожность, ибо они на меня смотрят, как на дойную корову, и я слышал, как Катяша с завистью говорила, что меня «бог послал» Маряше, ибо Маряша, ставя мне самовар и убирая мою комнату и контору, имеет полное право и возможность, одобренные Катяшей, систематически обворовывать меня!.. Да, так, а я — честный коммунист. Я не понимаю, как наши мужики понимают честь, ведь должна же она у них быть. Они живут, ничего, ничего не понимая, и вот Егор строит новую избу по всем знахарьим правилам, когда идет мировая революция!.. — Это весь народ, который я вижу вокруг себя но кроме них есть еще невидимый — это те сотни, а может и тысячи, которые вокруг меня растаскивают леса с которыми я борюсь не на живот, а на смерть. У меня такое ощущение, что все вокруг меня воры, вор на воре сидит, не понимаю, как не воруют друг друга, — хоть, впрочем, забыл: — я же сам был украден немцами, и они держали меня спрятанным в темном чулане!.. — Дети у Маряши ходят голыми, потому что нечего надеть, и все они в жесточайшей чесотке, — сначала я стал было столоваться вместе с Кузей, но мне было тошнотворно от грязи и — было стыдно есть при детях, потому что они голодны, не едят даже вдоволь хлеба и картошки, — а мясо, там масло, яиц — никогда не видят... А вот Мишка — пастух, который с коровами говорит на коровьем, не похожем на человеческий, языке, по-человечески говорит с трудом, — нашел в лесу землянку, уже развалившуюся, в овраге, в глуши, — землянка в гору вросла, — и в землянке полудистлевшая псалтырь; — спа-

сался, должно быть, какой-то праведник: интересно знать, мыло он признавал поганым или святым?.. А знахарю — «Арендателю» — чижик предсказывает, когда он будет пить самогонку. А сам пастух Минька знаменит тем, что в прошлом году, еще до меня, в его стаде у коровы родился телок с человеческой головой, — телка этого бабы убили, и молва решила, что отцом телка является Минька: быть этого, конечно, не могло, — но что Минька, который с коровами лучше говорит, чем с людьми, мог вожделеть к коровам — это пусть лежит на его совести». — —

Некульев не дописал тогда этого письма. Он сел писать его вечером, вернувшись с горы, где раскладывал костер, и просидел за столом до поздней ночи. Писал в конторе, горели на столе две свечи, отекали стеарином, — лили на зеленое сукно стеарин ко многим другим стеариновым ночам на сукне, в этом доме, горьком, как табачный мед. И вдруг, Некульев почувствовал, что вся кожа его в мурашках, — первый раз осознал эти привычные мурашки, — поспешно ощущал револьвер, — вскопил из-за стола, схватил револьвер, чтобы стрелять, — и тогда в контору вошел Коньков, с револьвером в руке, весь в пыли, с лицом, землистым от пыли. Коньков сказал:

— Товарищ Антон! Илья Кандин — убит мужиками, на порубке. В Кадомы, в Вязовы, в Белоконь пришли разведочные военные отряды, установить нельзя, белые или красные. Мужики бунтуют!

ГЛАВА ТРЕТЬЯ — О МАТЕРИ СЫРОЙ-ЗЕМЛЕ И О ПРЕКРАСНОЙ ЛЮБВИ

Расспросить мужиков о матери сырой-земле, — слушать человеку уставшему, — станут перед человеком страхи, черти и та земная тяга, та земная сыть, которой, если б нашел ее богатырь Микула, повернул бы он мир. Мужики — старики, старухи, — расскажут, что горы и

овраги накопили огромные черти, такие, каких теперь уже нет, своими рогами — в то самое время, когда гнали их архангелы из рая. Мать сыра-земля, как любовь и пол, тайна, на которую разделила — она же мать сыра-земля — человека, мужчину и женщину, — манит смертельно, мужики целуют землю сыновне, носят в ладонках, приговаривают ей, заговаривают — любовь и ненависть, солнце и день. Матерью сырою-землей — как смертью и любовью — клянутся мужики. Мать сыру-землю — опахивают заговорами, и тогда, в ночи запрягается в соху вместо лошади голая вдова, все познавшая, а правят сохой две голые девки, у которых земля и мир впереди. Женщине быть — матерью сырой-землей. — А сама мать сыра-земля — поля, леса, болота, перелески, горы, дали, годы, ночи, дни, метели, грозы, покой — — Мать сыру-землю можно — иль проклинать, иль любить. — —

У Некульева был большой труд. Юго-восток отрывали донцы и уральцы, из Пензы к Казани шли чехи, Волгу сщемили, щемили. Волгу спасали Медыни. У Мокрых Балок, в Починках, у Островов, на Залогох, — в десятках мест — грузились баржи с дровами, лесами, осмериками, двенашиками, тесами. И в ночи, и в дни приходили издыхающие пароходы, — ночами сыпали пароходы костры искр, — брали дрова, свою жизнь, чтобы шлепать по зарям и водам лопастями колес, пугая дали. Из Саратова, из Самары, из уездов, из степных городов приезжали отряды людей с пилами, тех, чья воля была победить и не умереть, рабочие, профессора, студенты, курсистки, учительницы, матери, врачи, молодые и старые, мужчины и женщины, — шли в леса, пилили леса, сбивали себе руки, колени, кровяные набивали мозоли, тупыми пилами боролись за жизнь, — жгли ночами костры и пели голодные песни, спали в лесах на траве, плакали и проклинали ночи и мир, — и все же приходили пароходы, хрипели

дровяным дымом, профессора становились за кочегаров, профессорские пиджаки маслялись, как рабочие блузы. — Некульев был тут, там, мчал туда, верхом на гнедой княжеской лошади, сзади Некульева на хромом меринке ковылял Кузя: все, что делалось, необходимо было — во что бы то ни стало, и Кузя помахивал часто наганом — —

...Была ночь. Некульев не дописал тогда письма, свечи запечатлевали новую стеаринную быль на зеленом конторском сукне. И тогда в комнату вошел Коньков с револьвером в руке, весь в пыли, с лицом, землистым от пыли, и Коньков сказал шопотом, как заговорщик: — «Товарищ Антон! Илья Кандин убит мужиками на порубке. В Кадомы, Вязовы, Белоконь пришли разведочные отряды, установить нельзя, белые или красные. Мужики бунтуют!» — — Тогда Конькова Некульев встретил в гусином страхе — с револьвером в руках, и он опустил револьвер, сел беспомощно на стол, чтобы помолчать минуту о смерти товарища. — Но тогда оба они крепко сжали ручки револьверов, тесно сдвинувшись друг к другу: за окном зашелестел десяток притаенных шагов, перезамкнулись затворы винтовок, и вмиг в дверях и в окнах возникли черные точки винтовочных дул, — и в комнату вошел матрос, покойно, деловито, револьвер у него не был вынут из кобуры.

— Товарищи, ни с места. Руки вверх, товарищи. —
Документы!

— Вы коммунист, товарищ?

— Вы арестованы. Вы поедете с нами на пароход.

Земля сворачивала уже в осень, и ночь была черна, и волжские просторы повеяли сырою неприязнью. У лодки во мраке выли бабы, и прощались с ними, как прощаются новобранцы, Егорушка и Кузя. Пыхтели во мраке пароходы, но на пароходах не было огней. Сели, поплыли. Кузя подошел к Некульеву:

— Это что же, расстреливать нас везут? — Помолчал. — Я так полагаю, я все-таки босой, прыгну я в воду и уплыву...

Крикнул матрос: — Не шептаться!

— А ты куда нас везешь, за то? — огрызнулся Кузя.

— Там узнаешь, куда.

Ткнулись о пароходный борт.

— Прими конец.

— Чаль!

Пароход гудел человеческими голосами. Некульев выбрался на палубу первым.

— Веди в рубку!

В рубке толпились вооруженные люди; у одних пояса, как у индейцев перьями, был завешен ручными гранатами, другие были просто подпоясаны пулеметными лентами, махорка валяла с ног.

И выяснилось: —

Седьмой революционный крестьянский полк потерял начальника штаба, а он единственный на пароходе умел читать по-немецки, а военную карту заменяла карта из немецкого атласа; карта лежала в рубке на столе: — вверх ногами; Седьмой крестьянский полк шел бить казаков, чтобы прорваться к Астрахани, — и чем дальше шел по карте, тем получалось непонятней; Некульев карту положил как надо, — с ним спорили, не доверяя. — А потом всю ночь сидел Некульев со штабистами — матросами, уча их, как читать русские слова, написанные латинским шрифтом; матросы поняли легко, повесили на стенку лист, где латинский алфавит был переведен на русский. Рассвет пришел выцветшими стекляшками, Некульев был отпущен. Копьков сказал, что он останется на пароходе. Егорушка и Кузя спали у трубы, Некульев растолкал их — —

— — И когда шлюпка отчалила уже от парохода, за горой разорвался пушечный выстрел, и вода около шлюпки

в грохоте бешено рванулась к небу. Это обстреливали казаки, пошедшие вперед, навстречу, к Седьмому (и Первому и Двадцатому) революционному крестьянскому полку имени матроса Чаплыгина — —

...Такие люди, как Некульев, — стыдливы в любви: — они целомудренны и правдивы всюду. Иногда, во имя политики и во имя жизни, они лгут, — это не есть ложь и лицемерие, но есть веселая хитрость; — с собою они целомудренно-чисты, прямолинейны и строги. — Тогда, в первый медынский день, все солнце ввалилось в контору, и было очень бодро: — и потом, через немногие дни, в той же лунной неделе, в лунной и росной мути, Некульев сказал — всем солнцем и всем прекраснейшим человеческим — «люблю, люблю!», — чтобы в этой любви были только солнце и человек: тогда пьяно пахло липами и была красная луна, и они выходили из лесу к полям, где Арина с рабочими драла корье — драла с живых деревьев живую кору, чтобы дубить ей мертвую кожу. — У Арины Арсеньевой было детство, пропахшее пирогами, которое она хотела выпрямить в петербургскую прямолинейность, — и она возростала обильно — матерью сырой-землей, — как тюльпанная (только две недели по весне) степь, — кожевенница Арина Арсеньева, женщина. Дом был прежний, но дни были иные, очень просторные, и не было ни приказчиков, ни бухгалтеров, ни отца, ни матери. Надо было работать во что бы то ни стало. Надо было все перекраивать. Дом был тот же, но из дома исчезли пироги, и там, где раньше была столовая (вог чтобы эти пироги есть), стояли нары рабочих, и для Арины остались мезонин, чемодан, корзина с книгами, кровать, стол, винтовка, образцы кож, и в углу жил волчонок. Но за домом и за заборами — дом стоял на краю села — была степь, попрежнему жухлая, одиночащая, в увалах и балках, — такая памятная лунными ночами еще от детства. А каждая жен-

щина — мать. Надо было на тарантасе мчаться в леса на обдирку корья; надо было мчаться в город в совнархоз и там ругаться; надо было лезть на всяческие рожны — на митингах в селе, на совещаниях в городе; надо было говорить о голбе, о бахтарме, о дерме, о зелени, о дублении, об обдирке, обсышке, о шакше (сиречь птичьим помете), — и надо было иной раз рабочих обложить — в чем пес не лакал, таким матом, чтоб даже сами скорняки уважили; за забором были низкие бараки, рядами стояли чаны для промывки и зазолки, сзади пристроена была боенка; строились бараки для мыловаренного и клеевого заводов; стоял амбарушка, где рушили в пыль лошадиные кости: надо было все перестраивать, делать заново и по-новому. Надо было носить пиджак по-мужски, револьвер на ремне, — а сапоги надо было шить на заказ: мала была ножка! И не надо — не надо было склоняться вечерами над волчонком, смотреть ему в глаза, нежные слова говорить ему и вдыхать его — горький лесной запах! — — И вот в солнечный бодрый день — всею матерью сырой-землей, подступавшей к горлу, — полюбила, полюбила! — И тогда, в той же лунной неделе, в лунной и росной мути, когда Некульев сказал — «люблю, люблю», — остались только луна, только мать сыра-земля, и она отдалась ему — девушка — женщина в тридцать лет, отдав все, что собрано было за эти тридцать весен. — Он, Некульев, приезжал к ней вечерами и приходил наверх в мезонин; иногда ее не было дома, тогда, дожидаясь, он рылся в чуждых ему книгах о кожевенном деле и пытался играть с волчонком; но волчонок был враждебен ему: волчонок забивался в угол, съеживался, и оттуда смотрели чужие, немигающие, абсолютно-осторожные два глаза, следящие за каждым движением, ничего не опускающие, — и волчонок скалил бессильную маленькую свою морду, и от волчонка гнусно пахло псиной, кислым, недостойным человека... Входила Арина, и

Некульеву каждый раз казалось, что это входит солнце, и он слепнул в счастье. Некульев не замечал, что всегда Арина кормила его вкусными вещами, ветчиной, свиной, и очень часто были или пухлые пироги, или сдобные пышки, которые Арина — удосуживалась, все же! — пекла сама. Некульев не замечал, что весь этот дом, даже пироги, пропахли странным, непонятным ему запахом, — кожей, что ли. — Потом Некульев и Арина шли в степь, спускались в балку, где наверху склоняли головы солнца подсолнухов, а внизу пересвистывались и замирали неподвижно, стражами, сурки, — поднимались на другую сторону балки, — и были там в местах совершенно первобытных, где не проходили даже татарские орды. Арина отдавалась Некульеву всею матерью сырой-землей, — Некульев думал, что в руках его солнце. — У них не было влазинок с черным петухом и с черной кошкой (хотя и было полнолуние) — потому, что у них были любовь и счастье.

И это счастье расколотилось вдребезги, как вдребезги бьют глиняную посуду на деревенских мужичьих свадьбах. — Некульев понял запах Арины и пересилить его не мог.

Некульев приехал днем. В мезонине был только волчонок. У заводских ворот сидел сторож, старик, он сказал: — Лошадей часотошных пригнали из армии, дохлых, порченных, — пошла туда Арина Сергевна.

Некульев пошел по заводу, прошел мимо громоздких протухших чанов, побрезговал зайти в бараки, калиткой вышел на другой двор, — и там увидел — — На дворе стояло штук сорок совершенно измызганных лошадей, без шерсти, слепых, обезноживших (когда лошади «безножат», тогда ноги их, как дуги); лошади походили на ужасных нищих старух; лошади сбились в безумии в табун, головами внутрь, — хвостов у лошадей не было, и были лишь серые чешуйчатые репицы на месте хвостов,

которые судорожно дрожали. И тут же, за низким заборчиком, убивали лошадей, одну за другой, отрывая каждую насильно от табуна. Открылись ворота туда, на бойню, — четверо вталкивали в ворота противящуюся лошадь, один из них ломал репицу хвоста, вынуждая лошадь итти убиваться, — вышла из ворот Арина, ударила поленом лошадь по шее, лошадь качнулась от удара и пошла вперед. Арина была в окровавленном фартуке и в кожаных штанах. Некульев побежал к воротам. Когда он взбежал туда, лошадь уже лежала на земле, дергались судорожно ноги, сползли с зубов мертвые губы, и язык был зажат в зубах вместе с желтой слюной, и двое рабочих уже хлопотали над лошадью, распарывая — живую еще — кожу; сломанная репица лошади торчала вверх. Некульев крикнул:

— Арина, что вы делаете?!

Арина заговорила деловито, но очень поспешно, так показалось Некульеву:

— Кожа идет на обделку, жировые вещества идут на мыло, белками мы откармливаем свиней. Сухожилия и кости идут на клееварню. Потом кости размалываются для удобрения почвы. У нас все используется.

Руки Арины были в крови, земля залита была кровью, — рабочие обдирали лошадь, другие конские трупы валялись уже ободранные, — лошадь подвесили за ноги, на блоке, к виселице.

Некульев понял; здесь пахнет так же, как всегда от Арины, и он почувствовал, что горло его сжала тошнотная судорога. Некульев приложил руку ко рту, точно хотел рукою зажать рвоту, — повернулся и молча пошел вон, за заборы, в степь. Некульев был целомудрен в любви. Он был всегда бодр и любил быть «без дураков» — в степи он шел как дурак, без картуза, который забыл в мезонине у волчонка. Больше Некульев не видел Арины — —

Леса лежали затаенно, безмолвно, — по суземам и раменьям (говорил Кузя) жил леший, — горели в ночах костры, недобрые огни. Если бы было такое большое ухо — оно услышало бы, как перекликаются дозорные, как валяются деревья, миллионы поленьев (чтобы топить Волгу и революцию), услышало бы свисты, посвисты, пересвисты, окрики и крики. — Лежала в лесах мать сыра-земля. — Был рассвет, когда над лесами полетели ядра, чтобы ядрами ставить правду. — Некульев прошел в дом, позвал за собой Кузьму и Егора, сказал, став за стол:

— Товарищи. Нам надо решить, как мы поступим. Кругом идет бой. Остаемся мы или уходим — —

Кузя помолчал, спросил Егора: — «Ты как понимаешь, Ягорушка?» — Егор ответил: — «Мне нельзя иттить, я избу новую построил, никак, к примеру, нельзя, все растащить, — я лучше в деревню убегу». — Кузя за обоих ответил — руки по швам:

— Честь имею доложить, так что мы остаемся при лесах!

Некульев сел к столу, сказал: — «Ступайте, я тоже остаюсь. Будем отстреливаться. Что останется от меня, разделите поровну, если меня убьют. Кузьма, придь через час, я дам тебе письма, отвезешь». — Кузьма и Егор вышли. Над домом разорвался снаряд.

Некульев начал писать, медленно:

«Ирине Сергеевне Арсеньевой. — Арина, прости меня. Я был честен — и с тобой, и с собой. Прощай, прости навсегда, ты научила меня быть революционером. — —

Но он не дописал письма, потому что вдруг вся кожа на теле покрылась гусиными мурашками, все запахло тухлыми кожами, табачным медом, — задрожали руки, зашевелились на голове волосы: пришел страх, ужас. Ночь мутнела, вдалеке лиловел восток, вдалеке рвались снаряды, рядом было тихо. Некульев присел за столом, при-

слушался, глаза его были сумасшедши; — он на цыпочках побежал к двери: там было тихо; он потушил на столе свечу, замер, крикнул: — «Уйдите!» — тогда бросился к окну, распахнул его, выпрыгнул в него, — побежал безумно, стремительно, в горы. Гусиная кожа все больше обрастала тело, — кольцекудрые волосы, должно быть, седели, шевелясь на голове — —

Кузя утром нашел на столе только эти три строчки начала письма и понес их по адресу — —

О ВОЛЧОНКЕ

Была безлунная ночь. Шел мелкий дождик. Ирина возвращалась из степи, прошла селом, слушала, как воют на селе псы; село замерло в безмолвии и мраке. Вошла во двор, прошла мимо чанов, никто не повстречался, — поднялась в свой мезонин. Прислушалась к тишине — рядом здесь в комнате дышал волчонок. Зажгла свечу, склонилась над волчком, зашептала: — «Милый мой, звереныш, ну, пойдти ко мне!..» — Волчонок забился в угол, сидел на задних лапах, поджал под себя пушистый свой хвост, и черные его глаза стерегли каждое движение рук и глаз Ирины. И когда глаза их встретились, глаза волчонка, немигающие, стали особенно чужими, враждебными навсегда. Ирина нашла волчонка еще слепым, она кормила его из соски, она нянчилась с ним как с ребенком, она часами сидела над ним, перешептывая ему все нежные слова, какие знала от матери, волчонок рос у нее на руках, стал лакать с блюда, стал самостоятельно есть, — но навсегда волчонок чувствовал себя врагом Ирины. Приручить его возможности не было; и чем больше волчонок рос, тем враждебнее и чужее был он с Ириной, он убегал от ее рук, он перестал при ней есть, — они часами сидели друг перед другом, между ними была его миска, она знала — он был голоден, она умоляла его нежнейшими сло-

вами, — «ешь, ешь, голубчик, — ну, ешь же, все равно я не уйду отсюда!» — волчонок следил своими стеклянными глазами за ее глазами и был неподвижен, не смотрел на миску, — пока не уходила она, тогда он поспешно съедал все до дна; он ворчал и скалился, когда она протягивала руку; он был врагом навсегда, приручить его возможности не было; Ирина много раз замечала, что наедине волчонок живет очень благодушно, своими собственными интересами: он бегал по комнате, изучал и обнюхивал вещи, грелся на солнце, ловил мух, благодуствовал, задира л вверх ноги, — но как только входила она, он вбирался в свой угол, и оттуда смотрели два черных абсолютно-внимательных глаза — — Ирина поставила свечу на полу и села против волка на корточки, сказала — говорила: — «милый мой, звереныш, Никитущка, — ну, пойдти ко мне, — у тебя ведь нет мамы, я приласкаю тебя на руках!» — Свеча коптила, мигала, — мир был ограничен — мир Ирины и волчонка — спинкой кровати, стеной, печкой, и потолок уже не был виден, потому что коптила свеча и потому что обе пары глаз смотрели друг на друга. Ирина протянула руку, чтобы погладить волчонка — и волчонок бросился на эту руку, бросился в смерть, страшной ненавистью, — впилился зубами в пальцы, упал в злобе, не разжимая челюстей, Ирина отдернула руку, волчонок повис на зубах, — на руке, — волчонок сорвался с руки, срывая мясо с пальцев, ударился о кровать, — и сейчас же попрежнему сел волчонок в углу: и оттуда смотрела пара немигающих его абсолютно-внимательных зрачков, точно ничего не было. И Ирина горько заплакала — не от боли, не от крови, стекавшей с руки: заплакала от одиночества, от обиды, от бессилия — как ни люби волка, он глядит в лес, — Ирина была бессильна пред инстинктом, — вот пред маленьким вонючим пушистым комком лесных, зве-

риных инстинктов, что сейчас засел за кроватью, — и перед теми инстинктами, что жили в ней, правили ею, — что посылали ее сейчас в дождь, в степь, плакать на том увале, где отдавалась она Некульеву; — и в бессилии, обиде, одиночестве (чем больше любила она волчонка, тем злее был он с ней) больно ударила она волчонка по голове, по глазам, и упала в слезах на постель, в одиночестве, в несчастье. Свеча осталась около волчонка — —

Тогда в окно полетел камень, посыпалось стекло, — и за окном крикнул подавленный голос:

— Товарищ Арсеньева! Беги! Что ты глядишь, все уж ушли, — казаки в селе, скорей! — Айда в леса! —

и за окном послышался поспешный топот копыт — от села к степи, к лесам — —

...Степь в осени блекнет сразу, сразу заволакивается степь просторною серой тоской. Утро пришло в дождевой измороси, неумытое, очень тоскливое. Мимо разбитых заводских ворот проехал с песнями конный казачий отряд. Из ворот выехали три казака и слились с остальными, никто не слышал, как рассказывали казаки о прекрасной бабе-коммунистке, доставшейся им на случайную ночь... А у заводских разбитых ворот, когда стихла песня, опять стала тишина. — На дворе, на заводе, стояли чаны, пропахшие мертвой кожей и дубьем, и в средний чан был воткнут кол и на кол была посажена Ирина — Арина Сергеевна Арсеньева. Она была раздета донага. Кол был воткнут между ног; ноги были привязаны к колу. Лицо ее — красавицы — было безобразно от ужаса, глаза вылезли из орбит. Она была жива. Она умерла к вечеру. Никто за весь день не зашел на заводский двор.

Кузя опоздал к Арине с письмом Некульева. Он пришел ночью. Дом и двор были отперты, никого не было. Он пробрался в мезонин, зажег спичку, здесь все было раз-

громлено. В углу за кроватью стоял на полу подсвечник с недогоревшей свечой, и смотрели из-за подсвечника два волчьих глаза. Кузя зажег свечу, осмотрел внимательно комнату, поковырял на полу следы крови, сказал вслух, сам себе: — «Убили, что ли? Либо подранили, — и тут громилы значит, черти!» — Потом остановил свое внимание на волчонке, осмотрел, усмехнулся, сказал: — «А говорили, что волчонок, ччудаки! Это лиса!» — Кузя собрал все вещи в комнате, завернул их в одеяло, перевязал веревкой, — взял с постели простыню, спокойно ухватил за шиворот лисенка, закутал его, — взвалил узлы на спину, потушил свечу, подсвечник засунул в карман и пошел вон из комнаты.

Вскоре Кузя шел лесом. Лес был безмолвен, черен, тих. Некульев удивлялся бы, как Кузя не выткнет себе во мраке глаз. Кузя шел кратчайшим путем, горами, тропками, — о лешем он и не думал, но и не посвистывал. Узлы тащить было тяжело.

Кузю, должно быть, поразила история с волчонком, потому что он помногу раз рассказывал Егору и Маряше и Катяше: — «А говорили, что волчонок, ччудаки, а это — лиса! У волчонка хвост как полено, а у этого на конце черна кисть и, заметьте, — уши черные. Конечно, где господам про это знать: это даже не каждый охотник отличит, а я знаю». —

По осени, к снегам уже сомнения не было, что этот волчонок оказался лисой. Кузя лисенка убил, освежевал и из его шкуры сшил себе треух — —

Москва, на Тверской
20 ноября 1927 г.

ЛЕДОХОД

Река разлилась ночью. С вечера думали, что можно еще будет перейти ее на рассвете, по заморозку. Но заморозка не было: стемнело быстро, звезд не появилось, воздух был влажен, и к полночи пошел дождь, — и тогда слышно было, как закрихтали, завозились, поползли во мраке льды. Спали в избах плохо, и на берегу скоро возникли молчаливые люди, слушали ледоход, — прислушивались, должно быть, к себе, к тому, что в ледоходы людям всегда не по себе и ледяные панцыри рек созвучествуют несуществующим и все же ощутимым панцырям, кои как-то в поте, буднях и смутности сковывают чело­вечьи души. И быт есть везде.

Наутро стали видны: туман, зеленая муть воды, льды на воде, уже освобожденные, родившиеся к смерти, поплывшие в море. На бурых холмиках над рекой раз­метался городишко, точно такой же, как Миргород у Гоголя, и свиньи по чернозему сползали к воде. Повстанцы водили лошадей на водопой. Хатки грелись в туманном тепле, — и слышнее всего были собаки и петухи, — собаки, которые еще не свыклись с пришедшими.

Итти возможности не было — надо было перековать льды, те, что распотрошило ледоходными льдами. Был дан приказ стать здесь на отдых.

Это была — одна сторона. И такой же приказ дан был — там, за рекой, в займищах. И в заполдни на соборной площади на церковной паперти — перед папертью на про-

сохшем месте играли в бабки и городки — пели солдаты песни, тягучие и сиротливые, как русские разливы — о том, как «засвистали козаченьки», и о том, как «вниз по матушке по Волге».

Вечер пришел собачьим лаем, дымом в хатах, редкими выстрелами на реке, сейчас же за хатами (это стрелки подкарауливали уток).

Ночь хрустела звездами в небе, месяц поднялся ледяной, — и лай собачий казался хрупким, как лед. В ночи долго не стихали песни, ползали по городку и по займищам. У собора на виселице за ночь повисели двое, с высунутыми языками, — толпа была невелика, когда их вешали.

К ночи батяк был пьян. Из штаба, где он был ввечеру, он перешел в гимназию, где жил. По гимназическим коридорам валялась всяческая военная рухлядь, — седла, винтовки, конские потники, шинели, и пахло здесь колючей больше, чем людьми. Людей было мало — все ушли слушать, как идет, командует весна, когда надо зимние панцири, сломанные ледоходами, перековывать. Батяк зажег свечу в учительской, — по стенам были книги, на столе четверть водки; на походной кровати спала жена, вон та, что подобралась, прибилась к отряду неделю назад, страшная женщина, красавица, — на полу около нее валялись ее галифе, гимнастерка и сапоги, а из-под подушки свешивались ремешки от кольта. Батяк сел к столу, опустил голову на руки, задумался — думал вот об этой женщине, имени которой он не знал наверное, которая звала себя Марусей, анархистка. Она пришла перед боем, попросила коня и была в строю первой, а потом расстреливала пленных спокойно, неспеша, деловито, как не каждый мужчина. А ночью она пожелала быть женою батяки, а батяк никогда не видал более неистойвой женщины. Теперь она командовала полком, и полк был отчаяннейший...

Батяк взглянул на нее тоскливо, длинно — встал и растворил окно.

Вошел вестовой, сказал:

— Поймали двух евреев из подозрительных. Что прикажешь?

Батяк ответил:

— Вешать надо жидов! — Помолчал. — Вешать надо эту нацию!.. Ты, братишка, налей нам по стаканчику, — спирт заводской... И еще надо вешать баб!

Выпили по стакану спирта, и вестовой ушел. За окном стояли тополи, небо было до неестественности зеленым. Рядом выла собака, и рядом же пели песню. Батяк налил еще стакан, выпил. И тогда на него напало веселье, он взял гармошку и пошел на улицу. У палисада толпились повстанцы, — батяк раздул меха гармоньи и засеменял вокруг иноходью, шиликнул на гармонике захватски, тряхнул кудрями, — ему навстречу выплыл партнер по плясу. Запели «яблочко»... Батяк поглядывал вокруг самодовольно и наивно. Повстанцы благоговели.

Ходили долго по улицам с песнями и гармошкой, разыскивали спирта, — хоть батяк и не пил больше, пьяный от ночи. И ночь поистине была прекрасна, когда неминуемо каждый должен чувствовать себя веселым и ледоходным. Река с каждым часом прибывала на аршины, уходила из берегов, шумела деловито рыболовами, перелетными птицами, рыбьим плеском. У реки батяк плакал, втапывал в землю свою шапку, бил себя в грудь и орал о прекрасной жизни, об анархизме, о «широй Украине», о добрых запорожских сечевых временах.

К утру в городке начался еврейский погром, всегда страшный тем, что евреи, собираясь сотнями, начинали выть страшнее сотни собак, когда собаки воют на луну, — и гнусной традиционностью еврейских перин, застилающих пухом по ветру улицы.

Батько вернулся домой на рассвете. Жена сидела за столом, ноги на стул, — писала поспешно что-то в тетрадь, брови были сжаты жадно. Батько, как требовали запорожские традиции, свалился спать на потник, подсунув под голову свой же полушубок.

Вскоре пришли часовые, сказали, что явился иностранец, хочет говорить с батько. Маруся приказала ввести. В этих ростепельных полях, в проселках, в бунтах, в деревенской вольнице — непонятно, как мог возникнуть американец, в кэпи, в круглых очках, в широком сером пальто, — и желтые его ботинки блистали, точно они были только что с магазинного прилавка. Но иностранец этот был невелик ростом, неказист, смугл и сразу напомнил какого-то очень знакомого, хоть и редкого зверка. Он снял кэпи и поклонился.

— Мне надо батько по очень важному делу, — сказал он.

Маруся оторвалась от дневника, взглянула строго, прищелкнула глазами, взгляд ее стал сосредоточенным. Она ответила нескоро, вновь опуская голову к дневнику:

— Батько работал ночь, он спит. Присядь, братушка. — Иностранец спокойно сел. Молчали долго.

Тогда Маруся спросила, не отрываясь от дневника:

— Вам по какому делу? Вы откуда?

— Из Америки.

— How do you do? — спросила по-английски Маруся.

— Thank you very much. Вы говорите по-английски?

— Да. Вы по какому делу?

— Я анархист из Америки, из Нью-Йорка. Мне очень важно повидать батько. У меня научная работа.

— Это еще что за работа? — спросил батько, поднимая голову с тулуца. — Марья, дай квасу!

— Вы проснулись, батько? Вы мне очень нужны. Я ради вас приехал из Америки, из Нью-Йорка, — сказал

иностранец. — Я русский эмигрант, моя фамилия — Щира. Я — —

Батько потянулся, зевнул, сказал скучливо:

— Докладывай, в чем твое дело. Выпей водки.

— Спасибо, я не пью. Мое дело должно заинтересовать вас — —

— Бабе можно остаться?

— Да, пожалуйста... Я уже отвык говорить по-русски, а она говорит по-английски — она поможет.

— Ты по-аглицки говоришь? — спросил удивленно батько.

— Говорю, — нехотя ответила Маруся.

— Ну, говори твое дело, братушка.

— Я, видите ли... — но то, что говорил и делал анархист Щира —

будет концом этого рассказа о половодьях.

Бывают по веснам утра: солнце во мгле, и нет холода после ночи, только сырость, туманность, над миром тишина, полусон, мир притих, и только грачи кричат; это ночь (и зима) борются с днем (и весной) и стали на бивак в борении. Такая пустышность в мире! Этими биваками побеждает тот, кто идет вперед, — и все же в такие утра бывает б е с п о м о щ н о, нет другого слова: — кто ты? что ты? зачем?

...День шел лентяем, пословицей: «весенняя пора, поел, да и со двора». И скоту и людям так приятно было, в лености, неспешности, месить сапогами грязь. Потом петухи откричали заполненный уповод, помычали к вечернему водопою и весенней воле коровы — и зачертили к вечеру небо вот-вот только что прилетевшие стрижи. Воздух, время и мысли развеивало далеко за околицы. И за околицей стоял красноармеец, тульский, степенный, в мочальной бороде. Он стоял на часах. И когда из-за земли пополз ледяной осколок месяца, красноармеец стал

изредка постреливать в него из винтовки, долго и пристально но целясь. Мимо из поля прошел другой красноармеец, он сказал:

— Ты что, товарищ, расстреливаешь народное достояние?

Первый ответил:

— А это я, товарищ, панику пуцаю!.. — и опять нацелился в месяц.

Днем по селу развешивали вывески — волисполком, штаб энной дивизии, на школе — «изба-читальня»; на многих воротах висели приказы, воззвания и еще афиши о большом митинге-концерте. Рано утром к штабу приваливала толпа — вот этих, местных, не туляков и рязанцев, в папахах, иные с чубами, безбордых и длинноусых. Они заламывали шапки на затылки, потрясали винтовками. Их оратор кричал комиссару дивизии:

— Мы на фронтах кровь проливали (мать, мать, мать), — а оны в вагонах ездили (мать, мать, бог, печонка, гроб)!.. Не жалам! — —

Тогда заматерщирила вся эта сотня людей, залилась синей кровью рож, запотела, загрузилась быками у боенных ворот. Подъехала тачанка, оратор влез на нее, усатый немолодой, влобнорожий (хоть в обыденках, должно быть, добрейшей души человек), махал своей овчинной шапкой, — и, если б был здесь посторонний зритель, он усмотрел бы в этих людях, в их лицах, одеждах и рожах — хороший материал к картине из времен Запорожской Сечи...

Опять кричал оратор:

— Мы на фронтах кровь проливали (мать, мать, мать), — а оны в вагонах ездили (мать, мать, бог, печонка, гроб)!.. Не жалам! — —

И тогда рядом с ним возник человек, молодой, в красноармейском шлеме, с револьвером в руках, — у этого лицо было крепко обтянуто кожей, глаза были острые и дерз-

кие, и, должно быть, он был интеллигент. И он сразу начал, — возведя в небывалейшую степень, — с селезенки, гроба, бога, оставив мать как малодействующее средство:

— ...Гроб, печонка, ствол, слон, — вы проливали кровь, а мы в поездах ездили, гроб, ствол, слон, — вы, гроб, проливали, ствол, кровь, слон!..

Усатый посмотрел удивленно, сотня смолкла в восхищении, — рожа усатого стала добреть, рожа усатого стала восхищаться, усатый опустил в восхищении шапку, — молодой все навинчивал гробы, слоны, стволы, усатый стал пригибаться, стал сползать в восхищении на корточки. И вот усатый выпрямился, шапку бросив в тачанку, — усатый ударил себя в грудь, и усатый сказал краткую речь:

— Братушки, — он — наш, мать-перемать!.. Братушки, возьмем его к себе в комиссары?.. Братушки, он — наш! — —

Вскоре сотня ушла к своему куреню со своим комиссаром, приходившая потому, что она не желала коммуниста-комиссара, и ушедшая потому, что коммунист-комиссар перематерщирил ее командира. — А этот комиссар, вернувшись к вечеру от своего куреня в штаб к товарищам, первым делом прошел в сортир, чтобы, при помощи двух пальцев, вытошнить из себя самогон; потом он лег спать, не заметив, должно быть, весны, — и лицо его — юношеское — за момент до сна состарилось в страшную боль. —

День шел лентяем.

В сумерки был митинг-концерт, и трубы играли «Интернационал», а потом от него в переулки потащилось «яблочко». К вечеру привезли газеты, центральные «Известия», — к вечеру, пообвыкшие уже ко всему, девки собрались у реки.

В школе была изба-читальня; дверь на блоке охрипла от суматохи, и люди входили и уходили, — в школе навсегда укрепились крепкие запахи махорки, пота, овчины, и дым стоял столбом.

У двери на полу сидели трое: один объяснял другим фокус, как, имея рублевку (он и демонстрировал серебряной рублевкой) и имея обязательство отдать ее вот сейчас, все же с этой рублевкой остаться? — выяснилось так, — он говорил:

— Вот у меня, то есть, цалкаш, а его я должен отдать тебе, потому как я у тебя занимал. А ты должен отдать ему, как ты у него занимал. А он должен мне цалковый, как занимал у меня. Вот, значит, я никому ничего не плачу, а цалковый остается у меня!

Собеседники его не поняли; сидели они на полу, чуть в сторонке от прохода, на корточках, тихо, никуда не спешили, и лица у них были скучливы. Фокусник начал снова, экспериментально:

— Вот руб. Я его тебе должен. Отдаю. (Отдал соседу.) Теперь ты должен ему, — отдай (тот отдал недоверчиво). Теперь он должен мне, я ему давал в заем, — отдай мне. (Цалковый вернулся к фокуснику.) И выходит — никому я теперь не должен, а цалкаш у меня.

Все трое внимательно и удивленно посмотрели на стертый, стертый рубль и громко захохотали. Потом смолкли и стали закручивать собачки.

На партах играли в шашки и в домино, — это домино возникло от тех времен, когда красноармейцы брали греческие хутора и город Одессу. Над каждой парой игроков свисало по десятку наблюдателей, молчаливых и внимательных. И тут же на партах, мусоля карандаши, писали письма на родину: — один склонялся над другим и диктовал: «Во первых строках моего письма кланяюсь низко»... — и потом дальше: — «...мы, красные орлы,

все гоняемся за бандистами, все никак не можем изловить, все население здесь бандисты. В пятницу на той неделе мы стали на ночевку в селе X, всю ночь переночевали, а утром узнали, что в соседней хате стоял бандистский штаб, так всю ночь вместе и ночевали, а утром пошла пальба, не приведи»... — красноармеец хотел было продиктовать: не приведи бог, но засмеялся, сказал: — Постой, погоди... — подумал, спросил: — как там написано? — «не приведи»?.. Пиши: «не приведи соввласть... Как начали они палать из-за углов, ну и мы тоже. Я находился на дворе, чистил лошадь, — схватил винтовку, вижу — бежит один за пунькой, — приложился — бац, подбежал — бандист, и на нем трое часов, один оставил себе, золотые, а пару сдал в народное достояние... И еще при нем пулеметная лента с патронами, а в кармане бутылка самогону... Самогону здесь сколько хочешь» —

На подмостках в другом конце класса, которые служили всем властям театральными и митинговыми подмостками, где теперь повисли красные знамена и плакаты, стоял древний рояль; к роялю подошел паренек и заиграл на нем о свадьбе в доме Шнеерзона, — был, должно быть, самоучка и был, должно быть, очень талантлив. Запел, — запели: «его жена, курьерша финотдела, вся разрядилась в пух и прах. Фату мешковую надела и деревяшки на ногах» —

Уже стемнело, в окна шел зеленый свет, мутнело томительно, и махорка совсем пережгла воздух. Вошел комиссар и крикнул громко:

— Товарищи, в этом классе начинается урок грамоты, — учеников прошу остаться, а остальных выйти вон. Потом будет устная газета.

Иные пошли к двери, иные сели прямо у школы на землю: — в классе расселись по партам мужики, иные с бородами, — поставили сзади себя винтовки, вынули из-за

пазух замусоленные тетради; буквари — на парту по одному — роздал комиссар. Махорка погасла и стала покойным столбом. Комиссар сказал:

— Приступаем, товарищи! Что я написал на доске?

И классе полсотней мужичьих глоток прочитал:

— Ежжж!!

У школы наружи сидел на земле паренек, лет двадцати двух, добродушнорожий, лицо его было расстроено, он ковырял прутиком землю и бессмысленно матерщирил одно и то же:

— Мать-мать-мать-мать...

Сосед спросил:

— Ты што блажишь?

Тот ответил:

— Да-а, — блажишь!.. блажишь, тоже!.. Я неделю в разведках таскался, от дивизии отстал, а учитель теперь не пускает меня в грамоту на занятия, говорит, — отстал от группы!.. Бла-ажишь!.. — и он обиженно стал вновь ковырять землю.

День ушел, отцвел лянными полотнами, повиснул на несколько минут многожды смытой плахтой на западе — и хаты засветились лучинами, а у тачанок, у пушек и у пулеметов запылали костры. Чаще стали слышны выстрелы, должно быть тех, кто «пущал панику».

Вечером привезли центральные «Известия», — они доходили сюда редко, иногда их не было месяцами — и многие десятки людских куч собрались — под лучиной, у костров, в штабе и школе под передвизжной, стащенной с сахарного завода, динамо, даже под фонарями автомобилей, — чтобы прочесть, скороговоркой, по складам, что думает Стеклов о французах, что думает Луначарский о театре, — какой формулой, вот, совсем оторванной от этих походных красноармейских будней, мчит планета РСФСР, в газете точная, как сказка и — как пулемет.

Газета кидала всему миру — и миру этих солдат — голый вер, пусть эти веры оторваны, как всякая вера, вот от той земли, где стоят эти тачанки...

А ночью (нельзя спать, когда разбережена птичьим перелетом душа, когда развеивает землю воздух и ветер весенние) — ночью многие ходили смотреть человека, вот уже двадцать лет прикованного на цепи в хате к стене, в том месте, где всегда на зиму ставят телят.

В избу входили не спрашиваясь, толпой, несли на ногах грязь; внимательно — сквозь лучинный свет — смотрели за печку, на человека с цепями на руках. У светца, оправляя лучину, стояла девка, молодая, покойная, она поясняла голосом не только покойным, но и довольным.

Человек, тот, что был на цепи, весь оброс волосами, сидел на корточках, под ним была солома. Только потом становилось страшновато, что человек одет, как ребенок, без штанов, — что глаза его прекрасны и сумасшедши, что изо рта у него течет, по-детски, нехорошая слюна. Девка говорила одно и то же:

— Они, мой батюшка... Они — то ничего, совсем как умные, — а то находит на них, находит, находит, находит, — бегают ото всех, огнем балуются и кур, петухов, телят там режут, режут и смотрят, как кровь течет, а как побежит петух без головы — нет им большего удовольствия. Два раза село поджигали, у всех на глазах, — ну, общество порешило его посадить на цепь, — как я родилась, он уж сидел...

На этом месте ее рассказа каждый раз остряли что-нибудь такое: — Эге, матка, значит, к нему под цепь лазила, — и девка откликнулась спокойно:

— Матушка моя умерли, когда мне десять лет было. С батюшкой они дружно жили.

Человек тот, что был на цепи, давно, должно быть, утерял все человеческое; он сучил под себя ноги, прекрас-

ными своими глазами смотрел бессмысленно и безразлично.

Те, что пришли его смотреть, осматривали внимательно, серьезно, неспеша, как рассматривают новую лошадь или плуг, прежде чем составить о них мнение, — потом молча уходили.

...Над землей проходила ночь, шла, как день, лентяем, — и была добродетельна, как задремавшая в возу на ярмарке девка — хорошая будет ярмарка! Лаяли над селом собаки, не видно было в темноте протоптанных троп, и тонула нога сладостно и неизбежно в грязи, как резина. Месяц не был уже ледяным, не был леденцом и стал простою медовою сладостью: та добродетельная девка пред ярмаркой должна уметь хорошо смеяться!..

ВТОРАЯ ЧАСТЬ РАССКАЗА, СМЕЩАЮЩАЯ ПЛАН ДЕЙСТВИЯ РАССКАЗА

...Из Босфора корабль вышел с тем расчетом, чтобы принять лоцмана (пилота по-английски) на рассвете и рано утром прийти в порт-Одесса. У Золотого Рога с корабля сошли все, кто были в котелках, французы и англичане, — в котелке на корабле остался один американец, в круглых очках, заморенный, похожий на ученого и обезьяну одновременно (что, быть может, происходило потому, — что все ученые всегда изобретают обезьян, прародивших человека, что, конечно, прекрасно). Корабль шел со спущенным флагом и без огней, капитан не сходил с мостика, не околачивался в фюмерне и малопил виски. Матросы на кубрике собирались кучками, как грачи в России перед отлетом, толковали весело о новой земле, где они побродят, покусят и повеселятся. День был синий, просторен, и море и берега изливали изумруды, — а корабль был — вот эти сталь, дерево, канаты, краски, свинцовые и ползуищие по воде, — был, как всегда, будничен

и сер, и безразличен, куда ему ни идти и где ему ни грузиться и ни ремонтироваться. А к вечеру похолодало, сначала показались звезды, а потом облака, — а потом полночи на корабле загудела сирена, — от воды за бортом струйками, а вдали полчищами стариков поползли туманы. И лотом измерили морскую глубину, чтобы знать, на каких цепях кинуть якоря. Ни одного русского на корабле не было.

Вечером на кубрике собрались матросы, во мрак полетели искры их трубок, в матросских — с кубрика — разговорах — о той таинственной земле, о прекрасной земле, что лежала в пяти часах хода отсюда, — там, в тумане, о прекрасной земле, где революция. Потом матросы говорили о любви и о любовях всего мира, и когда говорили, каждый ощущал свой кошелек с шиллингами в правом кармане брюк. Матросы сожалели, что никто из них не говорил по-русски.

В фюмерне, как все дни, сидел над бумагами американец, читал, писал и чертил диаграммы, — и — потому, что шопотом — никто не подозревал, что говорил он сам с собою по-русски. Он был молчалив, он, когда не сидел над бумагами, подолгу стоял на спардеке, смотрел вперед и смотрел так, что глаза его ничего не видели, — тогда голова его влезала в плечи, он боялся, что мысли его задавят, и черные английские усики бегали, как тараканы, в несказанных речах.

В туман американец пришел на кубрик. Матросы предложили ему сесть на канаты, это было лучшим местом. Матросы лежали на железе палубы. Матрос говорил:

— Мне надо знать только несколько слов — «сколько стоит», «любовь», «здравствуйте», «как пройти», «спасибо» — и я чувствую себя в чужой стране, как на родине. Я имею все — любовь, путь, и я вежлив. Но в России

я должен еще знать слово — «брат», «братья»... — матрос говорил по-английски.

И американец сказал:

— Я могу научить вас этим словам. Я умею говорить по-русски, о, я хорошо знаю по-русски... И вот через часы, когда растает туман, на холме мы увидим прекрасный город. И нас встретит красный маяк, он все время умирает и возрождается. Прекрасно... Слушайте о России, — она огромна, она победит мир, в ней свобода и в ней живут мужики, — это совсем не то, что наши американские квакеры. И любовь там — слово любовь — это самопожертвование, это подвиг, это страдание. Надо ставить опыты, опыты анархизма, чтобы ими взорвать мир!.. — американец заговорил надолго, первый раз на корабле, матросы-джентльмены слушали не перебивая; но когда американец задержался на минуту, матрос сказал вежливо:

— А позвольте тогда узнать слово, которым определяется та любовь, ну, словом, в публичном доме? Вы, должно быть, русский?

Американец поднялся с канатов, голова его ушла в пальто, он молча пошел к лесенке с кубрика, поспешно на ходу сказал:

— Такого слова на русском языке нет! В России за любовь убивают и умирают!

...Корабль простоял полсуток в тумане, и был закат дня, когда отгремели якорями цепи и стихла сирена. Корабль прогудел, радио кинуло весть о себе, капитан вышел на свой мостик. Американец сидел за бумагами, он не спал ночи.

И не перед рассветом, а к ночи пришел катер с лопманом, — и не в рассвет, а ночью пришел корабль в порт Одэсса. И долгие часы мигал кораблю красный огонь маяка, умирающий, умирающий и возгорающийся вновь, бередящий, непокойный в своем покойствии. И рассвет

встретил корабль и матросов — портом и тихой провинцией, как (матросы не знали этого городка) — как город Стерлитамак в досках своих тротуаров.

Только этот корабль да еще итальянец стояли на рейде. Потом их отвели к молу под Николаевским бульваром, справа игд ними стали колонны Воронцовского дворца, где коротал одесские дни Пушкин, — простор Николаевской лестницы шел к памятнику Ришелье и в город; слева город построился зелеными домами, суровыми, как бастионы. И над всем веял Стерлитамак, пустыня, мертвь, спящее забвение.

Вскоре к кораблю пришли биндюжники, какие-то пятые, седьмые и двадцать третьи «руки», — люди в штанах и рубахах из мешков, всех национальностей и все красавцы и силачи на подбор. Кто-то покатила футбол, крепко прокатилась первая батарея матерщины, — потом стали крепить сходни и вокруг корабля поставили солдат в зеленых фуражках войск ГПУ (все же в городе в этот день появились английские сигареты). Американец на извозчике проехал в Лондонскую гостиницу, в тишину гулких коридоров и окон на море в туманной мгле, на маяк, на мертвый порт, — американцу отвели номер 14, — где оставались многие министры, где провела несколько дней и ночей женщина — Айседора Дункан, исцивавшая свою жизнь простою, почти самогонною русскою водкой, мировая актриса, которая всюду возила с собой граммофон и, одна, днями плясала под этот граммофон... Американец подошел к окну и долго смотрел на маяк и море, потом он позвонил, потребовал теплой воды, стал бриться; о чае он забыл.

Вскоре он вышел из дома, прошел на Пушкинскую улицу (мельком взглянул на памятник Пушкину), мимо оперы он вышел на Ришельевскую, потом на Дерибасовскую, — у милиционера он спросил, не знает ли он, где

можно найти старика, музееведа и этнографа и потомка основателя Одессы, генерала Дерибаса; милиционер не знал; тогда он спросил (все на чистом русском языке), где адресный стол; милиционер не знал, посмотрел косо и сказал: — Отделение милиции вот тут за углом!..

...Матросы утром же ушли с судна в город. На Греческой улице они заходили в кафе, где греки молчали и сражались в домино с внимательностью шахматистов и где был слышен лишь шум костей — костяной мертвецкий шум, — и где — оттого, что молчали люди и потрескивали кости — возникали в памяти черепа и скелеты историй; — матросы ушли отсюда скоро. На греческом базаре рядом, у развалившегося дома с колоннами, на камне, греясь под солнцем, сидели оборванцы и пили водку, — один из оборванцев заговорил по-английски: матросы разбились на две группы, и трое остались с оборванцами. Оказалось, что в этом разваленном доме с колоннами ютились проститутки, и эти трое матросов заходили туда на четверть часа. Была пятница. После этого дома с колоннами матросы с оборванцами пошли на Привоз (так называется в Одессе базар). Там они видели страшнейшее и отвратительнейшее из всего, что можно видеть в мире. На этом грязном базаре они зашли в резню кашерной птицы, — туда, где к еврейской субботе режут кур; два библейских еврея, один рыжий и другой черный, с бородами пророков, на ларях потрошили кур, свет шел сверху, текла вода, и куриная кровь была не красной, а розовой; но страшны были не эти евреи. Что Гойя! — там, куда проникал только полусвет, на ящиках сидели еврейские старухи, которые щипали кур, — свет был серым, старухи были страшны старостью, вокруг старух валялись куры и куриный пух; старухи вымокли в куриной крови, они привыкли к крови так же, должно быть, как живо-

писец к краске, — кровь промочила их одежды, и на одежды, на руки, на лицо около глаз и губ, и под носом, где старухи касались лица, налипли пух и кровь; их одежды уже не гнулись от высохшей крови и стояли колом: старухи, чтобы согреться, жгли куриные перья, и от них пахло кровью, куриным пометом и горелыми перьями, — около них был полумрак, серый и зловонный. Старухи очень проворно щипали кур, — и около них дожидались этих кур еврейки в шляпках. У них шел свой разговор, и старухи называли евреек в шляпках «мадами», «богатыми мадами», которые не забывают бедных старух и которых не забудет еврейский бог. Куры, ободранные, в полумраке казались лиловыми, они лежали на грязном, в пуху, полу. Библейский еврей, который резал кур, приходил сюда к старухам отдохнуть, и они говорили о городских новостях... Что Гойя!.. — Отсюда, с Привоза, матросы пошли в «Гамбрину», в погребок, в котором перебивали все матросы, бывшие в Одессе; там, в «Гамбрину», подавали четвертями плохое бессарабское вино, бездельничали проститутки, и случайные греки играли в кости... В «Гамбрину» матросы пробыли до сумерек, до вечера.

Вечером в «Гамбрину» пришла компания грузчиков, «биндюжников», — и матросы с удивлением завидели, что среди этой компании был и их американец, в мешочных штанах и рубаше, в шапке с чужой головы. Он был грузчиком с «шестой руки»...

Другая часть матросской компании зашла в грузчикский клуб, в «Местком номер 3», — и там матросы видели, — они не знали, что здесь почти до конца точно повторилось то же, что описано уже в этом рассказе, что было за две сотни верст отсюда, в разливах, в избе-читальне — матросы видели, как в полуразваленном и наскоро оправленном доме под горой, у порта, где кругом остались только

каменные развалины от боев и мятежей, а рядом шипело море, такое, которое всегда вселяет в человека сознание его ограниченности, — на деревянных ступеньках, только что сколоченных, сидела девушка (собственно бабища, где каждый мускул заказан был богом на десяток женщин и на пятерых обыкновенных мужчин) — сидела девушка лет семнадцати отроду; и она плакала, и ее спросили, о чем она плачет, и она ответила;

— Да, — меня задержали не по своей вине, а учитель меня выругал, что опоздала... Да-а!..

А в прокуренной комнате на скамьях, которые ночью служат нарами, у длинных столов сидели мужчины и женщины, иные уже здорово изборожденные всяческими морщинами, и у них были листки бумаги, и они, отгрызками карандашей, очень неприспособленными для их рук, писали на этих лоскутках: «ма-ма», «па-па»... В другой комнате шло собрание, где грузчики обсуждали свои профессиональные нужды и толковали, как наладить им транспорт, как стейлорить их труд, как удобнее их горбами грузить на корабли российский хлеб и российские леса... А в зале, где была сцена, трудно было пройти от человеческих тел, лежали и сидели на полу и на нарах, всюду, иные спали, иные говорили тихо, иные играли в домино и шашки, — кучей слушали в углу газету, читаемую по складам, — один другому диктовал письмо, а на сцене красавец-грузчик играл на пианино и пел, и ему десяток плоток подпевал:

В Алексеевский попал,
Чум-чүура, чум-чу-ра!..
Пару кошек сболтовал,
ку-ку!
Пару кошек сболтовал,
Чум-чүура, чум-чу-ра!..
За семнадцать их загнал,
ук-ку!..

Потом он пел о том, как:

Ужасно шумно в доме Шнеерзона,
Такой гевалт, что прямо дым идет,
Он женит сына Соломона,
Который служит в губтрамот!..

В каменных развалинах «Месткома номер 3» было полутемно, душно и сыро, а над землей шло солнце и веяли ветры. Матросы взяли по кружке чаю, по куску ситного и вышли наружу, к развалинам, сели на пустынной мостовой, на солнышке, — пили чай, грелись и — невольно, должно быть, смотрели на море. Море было пустынно, сине, и гудел все время пароход, — гуд пароходный, как море, бережит душу: что гудит он? куда собирается? в какие страны пойдет он? как избородит земной шар, — Константинополем, Кардифом, Токио?.. Как хорошо гудят пароходы!.. И море, как пароходный гуд, всегда вселяет сознание ограниченности человеческой, — никогда не исчерпашь всех морей... Около моря надо стоять тихо, смотреть вдаль и молчать. Матросы на солнышке смолкли... На площади перед ними, у бульварчика, того, что разбит под портовым забором, кто-то удумал срезать с деревьев лишние сучья, сучья валялись на земле, и древний, библейский еврей собирал эти сучья в корзиночку; еврей был в сюртуке, спина его иссохла, походила почему-то на собачью, и у него было такое древнее, такое замученное лицо, спрятанное под огромный козырек картуза...

...Вечером, к ночи, все матросы собрались в «Гамбринусе». Там было тесно, многие четверти стояли уже под столами; люди платили всяческими деньгами мира — долларами, шиллингами, лирами, пиастрами, — и многие матросы и грузчики тоже были уже под столами. Под стенами были разрисованы всяческие виды и люди, и люди в подвале, живые, и люди на стенах, мертвые, и проститутки,

и четверти — все смешалось. Американец — теперь грузчик с «шестой руки» — кричал, и на глазах у него были слезы, и никто его не слушал:

— Я спросил вот у нее, я спросил, и она говорит, что на время она стоит три рубля, трешницу! Рубль за комнату и два — ей! Человек стоит трешку! — —

Раздвинули столы, стали между столов плясать русскую, остервенело, шумно; хлопали в ладоши. Люди на стенах тоже плясали, заплясали под столами четверти, уже опустошенные. Пришли скрипачи, заиграли про Шнеерсона. Новые на новые четверти посыпались шиллинги, доллары, лиры...

...Потом матросы, два грузчика и американец, все уже друзья по гроб, обнимаясь по-русски, по-русски слюняво, шли в притон. Их было семеро. Была ночь. Облака и луна в облаках стали над портом. У памятника Пушкина, развалинами, они спустились к порту. Под горой вошли в совсем разбитый переулочек. В угольном, разваленном доме окна были заколочены досками.

Вода плещется в порту, чуть шумит и блестит под лунной. Никого нет, тишь... И вот из дома с заколоченными окнами — слышны звуки скрипки, придушенная песня. Американец услышал это первый, — приложил ухо к корявым доскам окна, — услышал громкий разговор, веселье. Нашли щелочку, — увидели свет... Тогда трое стали на углу, двое на другом, двое пошли в разведку. Стали. Луна. Тихо. Плещется море... И вот спустилась ставня в окне, и в окно, как в дверь, вышли три негра в шляпах и пиджаках, ушли в город. Потом пришли два итальянца-матроса, с шарфами на шее, в щуплых пиджачках и кэпи (а морозит, и лужи затянуло ледком), — прошли мимо, посвистали, скрылись... Тогда слышно было, как стихло за досками окон, с двух сторон пришли разведчики и какой-то грек... Разведчики ничего не нашли,

а грек заюлил, завертелся, заклился, за руки потащил в сторону, обещал свести в другой притон, в другую «малину», как здесь назывались притоны. Откуда-то вновь появились негры, прошли мимо, и два итальянца пошли вдалеке сзади. Вновь полезли развалинами, грек хватал всех за руки, щупал руки. Шли около портового забора, наверху помертвели на луне белые колонны Воронцовского дворца, — опять полезли развалинами. Грек шел впереди, — и вот шедший за греком уперся в стену: — сырость, мрак, зеленый свет луны, дороги вперед нет; подошли остальные.

— Куда итти?

— Где грек?

Грека не было. И дорогу назад в развалинах трудно было найти. Вышли в новое место, на пустыри. Моря не было видно. Долго выискивали путь, чтобы притти в знаемые места. Оказалось: они в другом конце города...

Так притона той ночью они не нашли. Вышли ко дворцу Воронцова, смотрели, как умирает, умирает и возгорает красный огонь маяка. Ночью моря не видно — видны одни огни маяка, и они, огни, прекрасны и зловещи, — а днем море огромно — и незаметен, ненужен маяк, — это жизнь!..

...Потом в Лондонской гостинице сидели трое, в обыкновенных своих костюмах, американец, матрос с английского корабля, — и еще один, в полувоенной форме, этот тоже был в притоне и тоже выдавал себя за грузчика. Все трое, они были не очень пьяны, они говорили друг другу «ты», и говорили по-русски — сначала они говорили о том, как избежать половодье, распутицу — и как использовать ее.

Все же потом у них было вино, и теперь они пили, чтобы нациться, уже попросту — по-русски. Американец

часто тушил огонь на столе, — тогда видны были огни на море и — красный мигающий — на маяке, — тогда молчали, стояли у окон, и дыхания их были ровны. Потом опять зажигали свечи, цили и говорили. Луна ушла с моря на землю... Поздно ночью, перед рассветом, они трое вышли из гостиницы; они пришли к памятнику Пушкина. Луна ущерблялась, — и все же ее смутный свет мылил бронзу и гранит памятника, Пушкин смотрел в море. И тогда американец залез на памятник, прислонил голову к бронзовой — пустой, должно быть, груди Пушкина, послушал что-то и прошептал злобно:

— Слышишь, Сашка!.. Слышишь, какая революция!?

...Грузчик, который был в компании этих гуляк, пошел ночевать в ночлежку. Это было где-то около Привоза. В огромной комнате под потолком чадила и задыхалась лампочка, — дышать было нечем не только людям, но и ей, но она была не человек, который ко всему привыкает, и поэтому она тухнула. Казарма была велика, и в ней было очень жарко. В ней спало несколько сот человек, мужчин. Они, совершенно голые, потому что у них не полагалось нижнего белья и потому, что здесь было душно, и еще потому, что надо же что-нибудь подстилать под себя, лежали, спали на полу. Нар не было, и не было такого, на что можно было бы повесить что-либо, либо повеситься, и на полу не было свободного от человеческих тел пространства. Грузчик снял с себя все, расстелил на полу, растолкал своих соседей, втиснулся в них, лег на спину, посмотрел на потолок, крепким пальцем соскреб с груди вошь, — и быстро захрапел...

...Утро пришло в тумане, моря не было видно, и весь день на маяке выла сирена. Бывают по веснам утра: солнце во мгле, и нет холода после ночи, только сырость, туманность, — над миром тишина, мир притих, и только

грачи кричат. Это ночь (и зима) борются со днем (и весной) и стали на биваке в своем борении. Такая пустыньность в мире!

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ РАССКАЗА

Этот рассказ был написан в весну тысяча девятьсот двадцать четвертого года и закончен на первых днях Пасхи.

Той весной в газетах писали о том, что над землей есть кора из льдов азота и что, стало быть, с земли никуда не соскочишь, не разбив себе затылка об эти азотистые льды; в газетах же писали, что четвертого июля в тот год будут стрелять в луну и надеются через некоторое время отправить туда и людей; и еще писали в газетах, что на землю, на те места, где на земном шаре Россия, надвигается ледниковый период, потому что в межпланетных пространствах возникла межпланетная пыль, несущая извечный холод; обо всем этом человеку было гордо думать, — в Москве на съездах хирургов и терапевтов докладывались доклады, что наука дает теперь право пересадить руку матери — ребенку и руку ребенка — матери, — что опять подняты завесы над анабиозом, над живой смертью, и можно будет замораживать живого человека до ста градусов ниже нуля, и тогда уйдет в предания память о тифах, о сифилисе, о всех позорных и заразных болезнях, ибо ни одна бактерия не вынесет того холода, в который будет опущен человек, и холодом сгонят с земли эти болезни...

Рассказ был задуман в Одессе, куда безденежье и беспутство закинули меня и моего друга, собродягу и сописателя Всеволода Иванова. Той весной у нас было две весны — в Одессе и в Москве, а в страстную субботу тогда опять пришла зима, октябрь, распутица, и пасхальную

заутреню встречали в метельцу. Там, в Одессе, я и Всеволод, мы переодевались грузчиками (с «шестой руки») и ходили по притонам, читали лекции рабфаковцам и ночи проводили в Лондонской гостинице в обществе Макса, Золотарева, Стаха (коммунист и последний отпрыск литовских королей) — и замечательнейшей женщины — Айседоры Дункан; в вестибюле Лондонской гостиницы стоит медведь, — Дункан говорила, что она помнила его еще пятнадцать лет назад; Дункан — царицей — коммунистка! — приходила к нам в прокуренную комнату, и мы на середине комнаты вытаскивали софу, чтоб дать место царице, — а вино продается в Одессе четвертями, — и я знаю — Макс Ольшевец — один из прекраснейших людей, прекраснейшая человеческая особь, редкостная. Да, и мы часто тушили электричество, чтобы видеть огни на море и — красный, умирающий, умирающий и возгорающий вновь — огонь маяка, — тогда, в эти минуты, когда мы глядели на маяк, надо было молчать, и мы молчали. И это один из нашей компании лазил к бронзовой груди Пушкина — вот в этом тысяча девятьсот двадцать четвертом году — в лютой тоске, коммунист, в прекраснейшей человеческой тоске прижимал голову — горячий висок — к холодной бронзе Пушкина и кричал истерически:

— Слышишь, Сашка, — слышишь? Слышишь революцию?!

И не надо комментировать, почему так кричал и делал он: ясно. И это я в «Месткоме номер 3» видел девушку — девушку! — которая плакала потому, что опоздала на урок грамоты, и слезы эти мне не забыть, как не забыть шума моря, ночью, за портом, за молом, морского шума, который нельзя не слушать, но от которого так одиноко и так остро чувствуешь тщету всего себя и всех своих, моих, пильняковых, дел... Однажды Всеволод не ночевал

дома, пропал на ночь и пришел только утром, в руках у него была связка баранок, — в Одессе Всеволод был одет в зеленое английское пальто, в желтые башмаки, на носу у него были круглые очки, — он подсел ко мне, дал баранку, — и я не добился от него толку, где пробродил он эту ночь, и только узнал, что ночью он оказался — уже перед рассветом — в пекарне, где нашел друга пекаря на этот рассвет...

Да. Так. Н-но... — надо кончать рассказ.

И этого охоты уже нет делать, ибо мною же разрушена та «правда», что была в рассказе, «правдою» выписки обо мне и Всеволоде и того, откуда взялся этот рассказ... — вот пример, что нету единой, абсолютной правды на этом свете!

...Командарм Эйдеман — это я заканчиваю рассказ — в одном из боев с Махно захватил дневник жены Махно, — вот выписки из этого дневника:

— — —
«Сегодня воскресенье. День ясный, теплый, людей на улицах много, все повыходили смотреть на приехавших, а приехавшие, как скаженная орда, несутся на лошадях, налетают на невинных людей и ни с того, ни с сего начинают бить их, приговаривая: «это тебе за то, что не берешь винтовку!» Двоим хлопцам разбили головы, одного загнали по подмышку в реку, в которой плавали льдины. Люди перепугались, поразбежались...

— — —
«Мы въехали в село и на дороге увидали кучку людей, которые сидели на земле, а некоторые стояли и раздевались. Это были пленные. Их раздевали для расстрела. Кругом них крутились на конях и пешие наши хлопцы. Когда они пораздевались и поразувались, им велели связывать руки одному другому. Все они были великороссы — молодцы, здоровые хлопцы. Отъехав немного, мы остано-

вились: на дороге под откосом лежал труп. Немного дальше у ворот больницы лежал еще труп. Селяне смотрели, как сначала раздевали пленных, а потом, как стали выводить по одному и расстреливать. Расстреляв таким образом нескольких пленных, остальных выстроили в ряд и чесанули в них из пулемета. Один бросился бежать, его догнали и зарубили.

«Встретили Лашевича. Встреча была очень радостная. Все с ним целовались, расспрашивали, как он бежал от коммунистов... Стали говорить о делах. Дело в том, что Лашевич завез с собой четыре с половиной миллиона общественных денег. Спросили у него про них. Он замялся, говорит: «я расскажу вам, куда я их дел». В это время в штаб стали приходить бывшие партизаны греки, с воодушевлением рассказывали, какое разгульное житье вел Лашевич. Раздавал деньги, как хотел, устраивал балы, делал богатые подарки своим любовницам...

«...Лашевича арестовали, приставили караул. Скоро приехал батько и другие. В центре собралась толпа. Лашевичу связали руки и повели на площадь расстреливать. Гаврик сказал ему: «за что?» — прицелился и взвел курок. Осечка. Другой раз — тоже осечка. Лашевич бросился бежать. Тогда за ним погнался Липотченко и пулями из нагана сбил его с ног. Когда он упал, Липотченко подошел, чтобы пустить последнюю пулю, — он повел глазами и сказал:

— «Зато пожил!»

«Подвыпив, батько был очень болтлив и высказывал себя увлеченным чистотой и святостью повстанческого движения. Бродит пьяный по улицам с гармошкой в руках и танцует. Вот-то забавная картина!.. На каждое

слово отвечает срамной руганью. Наговорившись и натанцовавшись — уснул.

«...Перед обедом вышла погулять, пошла к речке... Повернулась итти домой, как вдруг вижу из-под сморщенных листьев распустился голубенький цветочек, а дальше второй, третий... Мы стали собирать эти первые весенние цветочки, — у нас они зовутся брандушками. Сразу стало как-то легче на душе и веселее на сердце...

«...Печальный сегодня день. Поднялись под выстрелы из ружей. Быстро собрались и приготовились. Ночью на Полог приехали красные и стали наступать. Еще ночью враги захватили двоих наших повстанцев и перестреляли человек двадцать кавалеристов...»

... Это выписки из дневника жены Махно, подлинники. Командарм Эйдман рассказывал мне, как он, этот дневник, был взят в бою, — и в этом бою была убита эта женщина, в благостные земные дни, — эта женщина, неизвестно (я не знаю, и этого мне достаточно) откуда и как пришедшая, ничего не принесла миру и благостным его дням, ничего, кроме этого дневника...

... Да. Но рассказ должен закончиться разговором троих.

И был рассвет в дни ледохода, когда ледяные панцири рек разворачивают, ломают несуществующие и все же крепко чуемые панцири человеческих душ.

Пришли часовые и сказали, что явился иностранец, который хочет видеть батько. Маруся приказала его ввести. В этих ростепельных полях, в проселках, в бунтах — непонятно, как мог возникнуть американец, — и желтые его ботинки блистали — точно они были только что с магазинного прилавка. Был невеселый, туманный

рассвет. Батько, как требовали запорожские традиции, спал на потнике, на полу, под голову подложив свой же полушубок. Маруся сидела с ногами на стуле, голову оперла левой рукой и правой писала в тетрадь. Никто не подумал тогда о том, что у тетради лежали голубые цветочки, те, которые называются брандушами. И было невесело в гимназической учительской комнате, где по стенам стояли шкафы с книгами первоначальных знаний, а на столе мутнела четверть со спиртом.

И батько сказал, позевнув, потянувшись, не вставая со своего потника:

— Докладывай, в чем твое дело. Выпей водки.

— Спасибо, я не пью. Я думаю, мое дело должно заинтересовать вас.

— Ну, тогда налей мне полстакана. Бабе можно остаться?

— Да, пожалуйста...

— Ну, говори свое дело, братушка. Может, моих полковников позвать?

— Нет, не надо.

— Ну, говори!

— Я приехал из Америки специально, чтобы повидаться с вами, у меня большая идея, вы — анархист, единственный в мире, который действует, я — теоретик анархизма, но у меня нет материалов под руками, нет человеческого материала, на котором я мог бы проверить и установить законы моей теории... Весь мир раскалывается в грандиозных революциях, весь мир — вулканом, и надо перепроверить все законы мира и людей. Я отменяю законы собственности, власти, любви... — Американец говорил долго; американец говорил о своих теориях, которые неважны для рассказа; американец говорил о революциях всего мира; американец говорил о невероятных любовях; американец говорил хорошо о единственности

в мире их двоих, его и батько. Батько слушал внимательно, восхищенно,пил малыми глотками водку, восклицал: — О!..

Раз пять батько сказал удовлетворенно и веско:

— Это ты правильно про нас, я тоже так понимаю... И что же — вся Европа знает?! О!..

И американец закончил — это и есть ключ рассказа — заявлением, чтобы батько отдал ему в владение уезд, в полное его правление, дабы мог он на людях, практически проверить свои анархические, крепко выдуманые в Америке, законы.

Вот и все. Батько сказал: — О!.. — выпил стакан водки и крикнул в коридор: — Вестового!

Потребовал карты, бумаги, писаря. На картах отметил границы нового — не государства, а — кабинета для научных изысканий анархизма. Батько был очень бодр и весел. День был пасмурен.

К о н е ц, — рассказу конец.

Он очень прост. Это — факт. Махно отдавал целый уезд анархисту Щиру на предмет изучения анархизма. Этот уезд надо было бы назвать — к а б и н е т е к и м... И еще факт: анархист Щира, приезжавший к Махно из Америки, был убит Марусей — неизвестно почему — —

Бывают по веснам утра: солнце во мгле, и нет холода после ночи, только сырость, туманность, — над миром тишина, тревожный полусон, мир притих, и только грачи кричат, — это ночь (и зима) борются с днем (и весной) и стали на бивак в борении, — точно так же, как огонь на маяке в Одессе виден только ночью и тогда не видно море, — днем же море огромно, и неприметен, ненужен маяк.

Москва, на Долгом.

29 апр. 1924.

МЕТЕЛЬ

Никто не знает, как правильно:
мятель или *метель*.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Дьякон: Оставь, Николай! Оставь балаболство!

Сын: А позвольте спросить, папаша, чем, к примеру, Магомет хуже нашего бога? Давайте, папаша, рассудим. Японцы не хуже нас, а у них свой бог, забыл, как звать, идол такой. Вот у нас бог — православный, а у немцев — лютеранский. Все Иисусе Христос, а чин ему разный.

Дьякон: Оставь, Николай! Оставь балаболство! Кто больше жил — ты или я?

Сын: Вы, папаша. Ну-к что ж?

Дьякон: Ну, я больше жил, и боле тебе и знаю. Не глупее тебе.

Сын: Эти разговоры вы, папаша, тоже оставьте. Ваш дедушка жил боле вашего папаша, и умнее его. Ваш папаша жил боле вас, и умнее вашего. Вы жили боле мене. — А мои дети будут еще того дурее. — Таким манером весь народ скоро в дураки выйдет, — а пока этого не видать. Я так полагаю, что ежели бы Лазарь теперь воскрес, он первым бы делом под вагончик попал.

Дьякон: Пошел вон отселева, ссучкин сын!..

Ночь. Баня: холодно в бане. Дьякон с котом на печи, в тулупе и в блохах. Ночь — мрак. Баня — на задворках Спасской, что на Житной, у кремлевского пролаза, церкви: святой Сергей Радонежский перенес отсюда монастырь на Реденеву Луку, там и посох его хранится. Дьякон от семьи в баню переселился, на задворки за Спасом, под самую кремлевскую стену. На кремлевской стене — крапива растет, это видно днем, пожухла теперь крапива. — Март или октябрь — все равно дьякону: мартовским ветром прошел октябрь по земле, — в марте снег еще лежит, порыжел лишь от зимних стуж, канонный, как старик-старообрядец, а из-под него текут уже студеные ручьи, звонкие, светлые; это происходит так: снег буреет и рыхнет, копать всей зимы выползает наружу, на него (в полях на снегу заячьи орешки валяются — крестьянские ребяташки собирают их, чтобы играть), внизу у земли снег прессуется в голубой ледок — и вот из него, из голубого ледка, течет студеная прозрачная вода, а над всем синее небо, теплое и звенящее жаворонком — днем, а ночью — в путь пошли миллионы новых звезд, хрустких, как ледок под ногою, и лай собачий слышен на десять переулков. А в октябре: дождь идет, как дьякон утром с перепою в церковь на обедню, и ночи пахнут лошадиным потом. — Ночь. Баня. Октябрь. Первый снег западал с вечера. Первая метель. В первый снег утром, — мягко тикают часы, по-зимнему, и за окном, на березе должна кричать сорока, осыпая снег с ветвей. Ночь. Метель. Баня: холодно в бане; в бане нет часов. Дьякон с котом на печи.

Дьякон: Господи! Слова дай, слова дай, господи!
Дьякон от семьи в баню переселился, от мира в баню ушел, поселился с котом, кота учить стал справедливости, дьякон стихи писать начал. Господи, как изъяснить все,

как найти слово, чтобы мир поставить иначе?! — Мальчиком по садам лазил; оболтусом поступил в управу, в писцы; водку тогда хлестали — он, ветеринар Драба да ветеринарный дворник, на управском дворе песни пели. Председатель управы пение слышал: этим и определилась карьера в дьяконы, председатель облагодетельствовал дьяконским чином, тут вот у Спаса, что на Житной, у пролаза кремлевского; ветеринар Драба все попрежнему водку хлестал в ветеринарной амбулатории на управском дворе, — у дьякона же дьяконица стала, ребята пошли, водку хлестал с духовенством. Растет жизнь иного дубом, дубом и валится в старости, дуб не русское дерево, другие жизнь свою белой березкой растят, в городе жизни творились — ветлой, осиною, осокой, волчачником, кошачьими слезами, — дьяконова жизнь корявой ветлой, живучей, как лабазная кошка, прошла: раз обломи ветку, сломится, новые отпрыски даст, зарубцуется, два обломи паршивую ветлу, сломится, новые отпрыски пустит, — заживет!.. В водке зеленые черти и змеи живут: из-за расы поповской мир тесен, как московский Кремль, весь в маковках золотых, Четы-Миней из-за маковок на полнеба стали — святыми, писанными Прокопием Чириним: в Спасской церкви записи церковные и выписи хранились от семнадцатого века, в истории Карамзина церковь эта и город много раз упоминались; записи от семнадцатого века старые были, на истлевшей бумаге, потрепанные, в них Карамзин подтверждался, дьякон тетрадку купил в клеенке, за сорок копеек, переписал начисто, залихватски, как бумаги в управе, старые записи и — подлинник выкинул; в записях о воеводе Никите писалось, склеп под церковью должен был быть, дьякон всю церковь облупил кругом ломом, хода искал, и нашел-таки: в поповом погребке дыры проделал, кирпич дьякон разобрал, две каменные

гробницы нашел, лазил к гробнице на брюхе; дьякон в Москву, на Софийскую набережную написал письмо к археологам, чтобы приехали: — ему оттуда ответили, — чтоб сфотографировал дьякон гробницы, чертеж и план приложил бы, — лето было, солнце колосось на кирпичах кремлевской стены, погреб батюшка проветривал, — где дьякону подземелье сфотографировать?! — Осень пришла, батюшка капусту рубил, в погреб капусту в бочках ставил, дыру в погребу велел дьякону заложить. И на этом второй раз сломили ветлу, чтоб зарубцеваться ей зеленым водочным змеем. У дьякона борода была в цвет кожи, лицо из Прокопия Чирина, и только глаза — не зрачками, а красными веками на синих белках, готовыми лопнуть, — про чертей говорили, про ночи и бани. Это уже канон, что у дьяконов в волосах перины.

Дьякон: Господи! Слова дай, слова дай, господи!..

Этим сломили ветлу последний раз. Как рассказать дьякону? Дьякон от мира в баню ушел, есть ему туда приносили, на печку забился, слова искал. И такой был злой старичишка, матерщинник, задира, распорядился по дому из бани.

Так. — Вот. —

— Сколько тысяч лет тому назад и как это было, когда впервые доили корову? и корову ли доили или кобылу? и мужчина или женщина? и день был или утро? и зима или лето? — дьякону надо знать, как это было, когда доили, — первый раз в мире, — скотину. Лес был кругом зеленый, и мурава зеленая, шумел лес. И люди были: мужчины и женщины, с гривами рыжими и с руками, как корень можжухи, люди были голые, в овечьих мехах, перекинутых через плечо. Кто же — мужчина или женщина? Каждый в младенчестве сосал молоко матери, но каждого возмужавшего затошнит от женского молока: до того как впервые доили корову,

не знали вкуса молочного. Вот, собачье молоко, говорят, вкусное, а не попробуешь, затошнит дьякона. Как же впервые стали доить, когда тошнит, — кто же? — Женщина, должно быть, для ребенка, должно быть, и тоскливо женщине было, должно быть, ибо, как бы томилась женщина, если бы ее доили? И корову ли доила в первый раз женщина или кобылу? Татарин конину любит, а дьякон не может конину есть — тошнит. Доила женщина, должно быть, тогда — кобылу. В тот день пришел вечер, и солнце садилось на западе, и мальчик играл с жеребенком, и кругом был лес, дубовый, зеленый, шумел лес. Люди были голыми. Никто никогда не узнает, как, когда и где впервые доили скотину. В тот день, по дьякону, произошло «величайшее завоевание человеческого прогресса». Потом приходили соседи посмотреть, позаимствовать, поучиться, и у той, кто впервые доил скотину, на роже было всегдашнее, извечное человеческое, — по-бабьи глупое, — самодовольство изобретателя: это, должно быть, могло быть и так. Каждая женщина — мать и любовница: как примирить?

Так. — Вот. —

— Целое тысячелетие, застряв, как застревают от молодости во рту старика желтые клыки, пожелтевшие от старости, страшные, паникадилят миру, России в частности, люди в ассиро-вавилонских костюмах, России, насквозь прожеванной аржаным, — люди в ассиро-вавилонских костюмах, волосатые, в домах византийской архитектуры, заставленные библиями, апокалипсисами, Четы-Минеями, иконостасами, ризами, рясами. Монастыри, погосты, приходы, — церковными маковками небо застлали. Скотий бог — Егорий — Георгием Победоносцем помчал, хвост задрал. Патриархи, синоды, епископы, попы, дьякона, староста — пятками бряцали

в выписях, записях, прописях, алтарями, притворами, папертями.

- Черная дьяконова ряса полами
- разбрыкалась по облакам, в мели!
- тели!.. Метель! Им, неверующим,
- страшно, что есть еще церкви.
- Тысячелетьем из перелеска в лес,

полями, суходолами ползет Россия, прожеванная аржаным, в овчине, с телятами, овцами, лошадьми, коровами, поверьями, приметами, песнями, заквашенными мистикой крови и тем, что каждая баба — любовница и мать одновременно. Столетиями на скамеечках у ворот лужатся подсолнухи, в пестрых юбках баб, а на задворках дзенькает в подойник молоко, чтобы потом восставать на пятерне, на блюде с поговоркой: «Хлеб-соль ешь, а правду режь», перед ртом, дудочкой сложенным. Валенки, завалинки, плетни, занавески, закуты, юбки, штаны, рубашки, чашки, ложки, коромысла, — запутали мир до бессмыслицы. Три столетия назад, здесь, у Спаса, татары проломли стену, пролаз памятником остался, — а воеводу Никиту вновь замурили, ибо надо солить попу капусту! На столетья болотными лихорадками, умственным (от слова «умственный») наваждением, дубьем, стоеросом, мгновением в вечности, возникают империи, и в трудный час поэтому люди спасаются конятником, которого не едят лошади, и желудом дубовым. Европа стала на столетие — гуманистом в жилетке и в воротничке, Россия — святым зверем стала — в красной рубашке из-под жилета. Из столетий в столетия, поэмой — возникают паровозы, тракторы, самолеты, дредноуты, радио, аллитерируясь на р. Из столетий — в столетья поэмой, — сохи и бороны пахнут: бороны тоже р затаила в себе. Из столетий в столетие эпохей восстала Россия корягой можжухи, как руки дикарей, национально-интернацио-

нальной властью, святым зверем в пределах народности русской и русской территории: Россия переписала церковные Спасские записи с семнадцатого века в тетрадь сорокакопеечную, песни метельные, метелицы, туманы, мглы, мги, зги по России Георгий Егорием мчит. А корову (или кобылу?) ведь доили, ведь доили когда-то первый раз!.. С божьей помощью, древен мир, — древний, дряхлый, седой, — древен и сед. Ах, какую седой ветлою, сколько раз сломанною, стал человечий «прогресс», бог бы его побрал! Чугунной пятой Атилл прошел по лицу господин прогресс от первой доеной коровы до колыбели российских метелиц, ставших корягой, как руки рабочих... И из мути метельной опять восстают паровозы, дредноуты, культура.

Дь я к о н: Господи! Слова дай, слова дай, господи!..
Так. — Вот. —

— Метель. Холодно в бане. Октябрь. За баней — стена кремлевская. За Спасом — базар, ряды торговые. Кремль, базарная площадь, улицы, переулки, тушилки, каменные дома, деревянные дома, лачуги, церкви, — там, вверху, в ветре, — воют крестами.

Ночь. Муть. Мгла. Мга. Зги: зги все же видны, синими огнями в черной мути они. В домах: лежанки, голландки, русские печи, железки; в домах коридоры, прихожие, спальни. За городом, за кремлевским обрывом к реке — поля: конским потом пахнет поле по осени, пустынно и мертво ограбленное рожью поле. Первый падает снег. Как — неповторяемого — не повторить Пушкина? «Мчатся тучи, вьются тучи. Невидимкою луна освещает снег летучий. Мутно небо, ночь мутна...» Впрочем, не было луны; впрочем, были не только муть, но и мгла, и мга, и зги. — Город был. И как не рассказать, — нерассказываемое, — о том, как в метелях, в снегу, в вое ветра, в мчании, скачке и пляске —

— (я близорукий, на очки снег налипает, очки леденеют, а без очков: я не вижу или вижу одну лишь зеленую муть, бьет снег по открытым глазам, из мути вдруг вырастают снежинки, все теснее и больше, чем есть, и жмуришься, и надо руки вперед протянуть, а дома, а церкви, а ветер, а снег — над тобою склонились. Выше, выше!)

— в метелях, в снегу, в вое ветра, в мчании, скачке и пляска —

— вдруг —

— возникает: —

— абсолютный покой, тишина, неподвижность, недвижность, — недвижность — в стремлении неистовом. Это — гипотеза вечности. Это мне — революция, здесь мне ползет и Китай, и «баба с мордовским лицом»: в скачке, плясании, свисте — вдруг каменная баба с мордовским лицом. Все мы умрем, конечно, оставшись истории мордвою.

— Малиновая дьяконова ряса — по облакам, в метели — разбрыкалась полами!

— мне, неверующему, страшно, что есть еще церкви.

— А дьякона нет уже в бане, ибо дьякон, конечно, ведьмедь! — —

Сын: Папанька! дров тебе принести?! Вишь, как метет-то. Замерзнешь!

Дьякон: Пошел вон, сукин сын!

Сын: Вот вы, папанька, какой! Богу, говорите, предались, в баню запрягались, а сами ругаетесь, как старый хрыч... Маманька велела сказать строго-настрога, что не топимши вам здесь оставаться нельзя, чтоб дурака не валяли, в избу шли ночевать.

Дьякон: Пошел вон, сеужин кот!

Сын: Вот вы, папанька, какой!.. Ежели я сукин кот, то, вы, стало быть, самый главный котиче!

С печки к двери от дьякона к сыну пролетели: валенок, картошка вареная, мочалка, киришч...

ГЛАВА ВТОРАЯ

Камертон — охотничьим рогом.

— До-до! до-соль! до-дооо!..

В городе хоронили общественного деятеля. Это было давно. За гробом шла толпа. Общественный деятель был просто зубным врачом из местных евреев; за гробом шли те, у кого поредели зубы от щипцов и словопрензий зубного врача. Гроб несли по Рязанской (теперь Октябрьской) улице. — Земские начальники Еруслан Лазаревич Кофин и Ипполит Ипполитович Воронеж-Званский — ночью пьянствовали на вокзале, утром возвращались на одном извозчике с девочками вчетвером домой: — процессии встретились на Рязанской улице у заставы; у заставы стоял городской, — и растерявшись крикнул городской похоронной процессии, глазами вепря: — Сворачивай! Вишь, — господа земские начальники едут!.. — потому что ехали господа земские начальники «неудобно выпимши», а несли — зубного врача из евреев или (сложнее) еврея из зубных врачей — неудобно мертвого!..

Охотничьим рогом:

— До-до!.. До-соль! до-дооо!

Еруслан Лазаревич, конечно,

кличка, — в действительности:

Лазарь Иванович Кофин.

Время действия — революция.

Место действия — город.

Действующие лица — врачи, педагоги, дамы.

«Товарищам третейским судьям — от ветеринарного врача Сергея Терентьевича Драба.

(Судьи: Белохлебов, Николай Иванович, врач; Крайнев, Матвей Андреевич, педагог; супер-арбитр — Воронец-Званский, Ипполит Ипполитович, народный судья.)

«Я знаю два факта.

«Первое. Моя жена, Анна Сергеевна, передала мне: во вторник, 17-го, на уроках в гимназии в большую перемену ворвались к ней очень возбужденные Галина Глебовна Кофина и Роза Карловна Гольдиндах, и обе просили оградить их честь. Они хотели сначала итти бить меня, но потом раздумали, обратились к моей жене и рассказали ей следующее: в спектакле, который предполагался, должны были участвовать я и Роза Карловна; ее муж, Лев Семенович Гольдиндах, протестовал, не желая, чтобы Роза Карловна играла со мной, а когда Роза Карловна отказалась, он принял «решительные меры» и рассказал Кофиным, что я в Березняках, при нем и при докторе Белохлебове, говорил о связях Галины Глебовны и, в частности, о моей с ней связи, и что в Березняках у Гликерии Михайловны хранится — «вещественное доказательство» — письмо мое к Гликерии Михайловне, где я отрицал семейные устои; при этом, уже кроме того, что я говорил о связи с женщиной, Галина Глебовна клялась честью,

что я, говоря о моей связи с нею, — врал: — одновременно с этим Лазарь Иванович сказал, что я сообщил ему о том, что целовался с Лидиной и Розой Карловной, причем Лазарь Иванович привел даже разговор мой о Розе Карловне, где я, сказав, что целовался, добавил, что могла произойти и связь, если бы не делал подразделения еврейских женщин на евреек и жидовок, — причем: все, что я говорил, — заведомая ложь. Кроме того, я говорил Лазарю Ивановичу, что не уважаю женщин, что всякую женщину я могу заставить мне отдаться и, в частности, если бы я захотел, мог бы овладеть Марьей Васильевной Белохлебовой. Кроме того, я, якобы ухаживая за Галиной Глебовной, одновременно писал стихи и дочери ее Варе.

«Второе. Лазарь Иванович пришел к доктору Белохлебову (должно быть, после воскресенья пятнадцатого?) и сказал ему, что мною переданы ему, Лазарю, возмущившие его вещи, что я изнасиловал Лидину, целовался с Розой Карловной, и что он, Лазарь, решив оградить честь женщины, реагирует и т. д., — подробностей я не знаю, ибо доктор Белохлебов мне рассказал вкратце. В частности, о письме к Гликерии Михайловне: доктор Белохлебов слышал от Гликерии Михайловны, что она и не знала, как много во мне хорошего и что письмо это — объяснение в любви.

«И я почел долгом своим вызвать Лазаря Ивановича на третейский суд, — почему Еруслана Лазаревича, это будет ясно.

«У меня есть два факта — это то, что Галина Глебовна и Лидина пришли объясниться к моей жене, и что Лазарь Иванович пришел плакать в жилет совершенно постороннему человеку — доктору Белохлебову, — и есть содержание этих фактов. Оценку этим фактам и их содержанию должен дать суд.

«Я должен говорить о содержании фактов.

«1) Лев Семенович Гольдиндах передавал, что я недостойно отозвался о жене Лазаря Ивановича — Галине Глебовне и что я говорил о связи с ней. — Да. Помнится, что говорил. Да, у меня была связь с Галиной Глебовной, и есть сему доказательство, хоть она и отрицает факт. Да, я позорно вел себя, сказав об этом.

«2) Жена передала мне, что я сообщил Лазарю Ивановичу, будто я целовался с Лилиной и Розой Карловной; доктор Белохлебов передал мне, что я сообщил Лазарю Ивановичу, будто я целовался с Розой Карловной и з н а с и л о в а л Лилину. И это неправда, потому что я не говорил этого Лазарю Ивановичу. У меня не было даже с ним разговора о Лилиной, но был разговор о Розе Карловне. Я колеблюсь, передать ли его или нет, но, кажется, должен. В пятницу, тринадцатого, утром я заходил к Лазарю Ивановичу, мы вместе были у часового мастера и затем шли: он — в воинскую комиссию призваться, я — в амбулаторию. С Лазарем у меня установился тон вести порнографические разговоры, я точно не помню, как разговор пришел к Розе Карловне, кажется, со спектакля (от которого до этого я отказался), к тому, что мы вместе приходили и вместе возвращались с репетиции, — и Лазарь Иванович советовал мне поухаживать за Розой Карловной, я упомянул о муже ее Льве Семеновиче, Лазарь нашел это неважным, — и — да — я пустился в философию о еврейках и жидовках. И это все. Я колебался передать этот разговор, потому что я совершенно бездоказателен, и поэтому пользуюсь оружием Лазаря Ивановича.

«3) Лазарь Иванович говорил, что я не уважаю женщин. — Очень возможно, должно быть, это так. Должно быть, я и говорил ему, что всякую женщину можно заставить отдаться: главным образом так говорил о женщинах

с Лазарем Ивановичем, ибо, как сказал уже, мы с ним вели только порнографические разговоры.

«4) Стихи в альбом к Варе и письмо ко Гликерии Михайловне будут функционировать на суде, суд увидит, что на меня клеветают.

«Я сказал все так, как я знаю. Ту вину, что я принял на себя, — пусть осудит суд. Самый тяжелый для меня пункт второй, ибо это — клевета. Передо мной два варианта: в первом исходную роль играет: спектакль, во втором — возмущение Лазаря Ивановича; в первом я целовался с Лилиной, во втором я ее изнасиловал; в первом я подрывал семейные устои письмом в Березняки, — во втором — адресатка нашла во мне что-то хорошее, — третьим же вариантом будет подлинник письма.

«Я разберусь в каждом варианте отдельно.

«Если бы не было спектакля, господин Гольдиндах не взревновал бы и не рассказал бы о Березняках, Лазарь Иванович не рассказал бы о Розе Карловне и Лилиной, Галина Глебовна не рассказала бы о том, что связи со мной у нее не было, и о стихах к Варе, — и, стало быть, моей жене не был бы устроен скандал, когда дамы собирались сначала идти бить меня, но, продумав, пошли к ней. Это было во вторник, 17-го, а за шесть дней до этого, в среду, 11-го, я отказался принимать участие в спектакле, — куда же выпали эти шесть дней, за которые я дважды встречался с Кофиным, в пятницу утром и в воскресенье вечером у Белохлебова за преферансом. — Ведь если Лев Семенович вынужден был говорить о Березняках, он, стало быть, говорил до среды одиннадцатого, и, стало быть, та или иная реакция должна была быть по меньшей мере в пятницу, когда я заходил к Лазарю Ивановичу. — По здравому обсуждению — надо было устроить скандал жене, женщине, т. е. бить в самое интимное — и затем: и Гликерия Михайловна, и Анна

Сергеевна (Гликерия Михайловна — потому, что я ей написал, Анна Сергеевна — потому, что я подорвал устои), и Галина Глебовна, и Лилина, и Марья Васильевна, и Роза Карловна и — даже! — Варя! — все! все оклеветаны мною!..

«И я прошу прочитать любовное письмо ко мне Галины Глебовны Кофиной, чтобы установить истину моих слов. Я прошу прочитать мое письмо к Гликерии Михайловне, чтобы установить истину. Я прошу прочитать стихи в альбоме у Вари, чтобы установить истину.

«И я должен сказать, что было пятнадцатого, что краем уха слышал тогда же доктор Белохлебов, что побудило меня сейчас вызвать к суду Лазаря Ивановича. Пятнадцатого вечером, за ужином у доктора Белохлебова, Лазарь Ивановичу показалось, что я сказал на ухо доктору что-то недолжное про Лазарево семейство и, в подвыпитии, я называл его все время Ерусланом Лазаревичем, — и после ужина, наедине в другой комнате, Лазарь Иванович мне заявил, чтоб я не смеялся над ним, что его общественное положение и мое — «две разницы», что я дождусь, что он сделает скандал, так что меня изгонят из общества. Мы с доктором Белохлебовым успокоили Лазаря Ивановича, а когда доктор отошел, Лазарь Иванович убеждал меня, чтобы я не думал, что он, будучи женат двадцать лет, не изменял жене. Я ответил ему что-то такое, что я не сомневался, что и он и жена его, Галина Глебовна, в этом деле преуспевают.

«Это было пятнадцатого. Для меня ясно, что все, что было — было создано Кофиными, чтобы устроить мне скандал, как предрекал Лазарь Иванович. Вдохновительницей, конечно, была Галина Глебовна, с тем, чтобы замести свои проделки. Было мобилизовано все против меня, одни невинности, инсинуированные и оклеветанные мною, до Вари включительно, и до жены в частности.

«Я кончил и жду слова товарищей-судей.

Ветеринарный врач Сергей Драбэ».

Камертон — охотничьим рогом:

— До-до! до-соль! — до-дооо!..

На донья морские опускаются люди в колоколах: под колоколами домов, за трубы спущенных с неба на землю, в городе, люди — Еруслан Лазаревич Кофин, ветеринар Драбэ, доктор Белохлебов, дамы, прочие, — люди болтались языками колоколов в домах. Метель над городом: муть, мгла, мга, зги, — «мчатся тучи, вьются тучи». Людями —

— комментировать:

ибо

в метели —

а б с о л ю т н ы й п о к о й .

Так. — Вот. — Так. —

— Двухэтажный колокол дома на Большой (теперь Красной) улице прикрыл Кофина, Еруслана Лазаревича (внизу в доме была парикмахерская «Козлов из Москвы»: Лазарь Иванович всю жизнь там брился бесплатно, в революцию — уже по старой памяти о своем прежнем земском начальничестве). Двухспальная кровать во втором этаже, в дальней комнате: сколь много играет в жизни людей — кровать! Еруслан Лазаревич на двухспальной кровати всегда спал один, Галина Глебовна спала где угодно, но не в двухспальной кровати. Ведь знал Еруслан, как все знали, что — с кем не спала в городе Галина Глебовна Кофина, — с тех пор давно, когда жизнь танцевала от винта в коммерческом клубе, а там в клубе отплясывал венгерки сибиряк Никитин, швыряя сотенными, чтоб оказаться потом фальшивомонетчиком и совсем не Никитиным и чтоб на суде тогда выступать — в Варшаве — Галине Глебовне — свидетельницей-любовницей. А он,

Еруслан Лазаревич, земский начальник, любил выпить в хорошей компании, хорошо закусить, поговорить по душам о задачах интеллигенции, называя ее Эоловой арфой, — и он любил Галину Глебовну, и ленты в белье Галины Глебовны после стирки вдевал — он же! Эолова арфа!..

— Молчать бы, молчать! Никто не откроет Америки новой. И он солгал тогда Драбэ: для него была свята двуспальная — пустая — кровать. Драбэ: Драбэ пил водку, пел песни и — где Америка, что вот неделю назад ходила Галина — в ветеринарную амбулаторию ночью, — через заборную щель. Еруслан видел, как ушла она оттуда, должно быть, прогнанная. Лев Семенович Гольдиндах — не отдавал еще жены другому, не открыл еще старой Зеландии, быдлом не подставил еще голову под страдания — и Колумбом поставил яйцо: —

— вечер был, чай пили, Еруслан Лазаревич чай разливал: Галина Глебовна штудировала роль для спектакля. — Лев Семенович: влетел, разорвался, в шубе уселся за стол, возбужденно съел порцию Еруслановой смоквы.

— Я пришел поговорить серьезно. Когда мы были в Березняках у Гликерии Михайловны, ветеринар Драбэ о вас, Галина Глебовна, говорил всякие мерзости, что вы были с ним в связи.

Ах, кто же, кроме Галины, знал, что Галину прогнал Драбэ, и кто, кроме Галины, знал, что Роза, жена Льва Семеновича, была — Драбэ? — И это Галина сказала тогда Льву Семеновичу о том, что Драбэ болтал (тут же при Лазаре придумано было) болтал — Лазарю Ивановичу говорил Драбэ, что целовался с Розой Карловной. Лев Семенович не отдавал еще никогда другому жены! — Еруслан знал это. — И вечер был, и чай был, и спирт за ужином, и номер «Исторического

вестника» за девяностый год болтался на столе. Лев Семенович сходил за Розой Карловной, вместе коротали вечер и обсуждали, как реагировать. — Роза Карловна плакала, возмущенная, что целовалась, юлила, клялась, Галина Глебовна многоопытно кепшкой играла с неопытным блюдом Розалии: — как им обеим итти давать пощечины Драбэ, когда Драбэ любовник обеих? — Ну, конечно, надо итти и защиты просить у жены! —

Разговор после ужина с водкой был по душам, об Эоловой арфе. Было очень уютно.

Колоколом дома прикрыта кровать Еруслана Лазаревича, и это к нему пришла ночью Галина Глебовна, очень нежная, в розовых ленточках, вставленных Ерусланом, чтоб говорить о мерзостях Драбэ. Богатырь такой, Еруслан Лазаревич — ленточки вставляет! и — как ему не раздавить, не уничтожить — Драбэ?! — Лазарь Иванович одевался всегда в сюртучок плюс манжеты плюс шевелюра с поэтической холкой. А дома — а дома привешены за трубу к небесной тверди.

Метель.

Муть, мгла, мга, зги.

Так. — Вот. —

— Драбэ судьям бумагу и «письма Галины» принес, похотел, покурил и ушел. Судьи рядили, как им судить? — Ведь в «письмах Галины» были — и «Гая», и «твоя», и «целую единица десять нулей раз», — было как в письмах и к судьям, как же гласить это обществу? Судьи судили, как им рядить? — Еруслан принял суд вдохновенно. —

— И к Еруслану пошел Белохлебов. —

— Путь Белохлебова: улочка в заборах, в скамейках у калиток, церковная ограда, площадь, памятник жертв Октябрьского восстания против

торговых рядов, улица в булыжинах мостовой, в домах из камня, каждый, как гроб, — и всюду, конечно, воронье на ветлах. Костюм Белохлебова: бекеша из верблюжьего сукна и треух с красным крестом. Характер Белохлебова: круглый, деревянная мягкость от добродетели. Идея в Белохлебова: рационалистическая добродетель — помирить Драбэ с Кофиным, хоть и мерзавец Драбэ.

— Я к вам на минуту, Лазарь Иванович. Простите, спешу. Надо вам помириться. Я говорю вам, как друг. Будем откровенны. Простите, что касаюсь столь интимного. — Ш о п о т о м: — Понимаете, Драбэ приложил к делу письма Галины Глебовны, письма к нему, ну, понимаете... Это, конечно, нечестно. Н-но — понимаете, — скандал на весь город... Н-но — Драбэ, конечно, вправе предъявить материал... — П о г р о м ч е: — Простите, что касаюсь. Я говорю вам, как истинный друг.

Лазарь Иванович одевался всегда в сюртучок плюс манжеты плюс прическа с поэтической холкой. Лазарь Иванович — в сумерках, до чая — слег в двухспальную свою кровать, сняв сюртучок и манжеты. У Лазаря Ивановича с Галиной Глебовной была семейная сцена, громкая до визга. Визжал Лазарь Иванович.

Лазарь Иванович в истерике:

— Ты, ты, ты! Я не могу даже честно реагировать!

Галина Глебовна в самогипнозе:

— Ты, ты, ты, урод!.. Трус! погубил мою жизнь!

— Что же, паскудные письма напоказ выставлять?

— Ты, ты, ты... Письма? письма... Какие письма?..

— А те письма, что ты писала скотолечебнику!

— Что-о? Письма Драбэ? — Можь!

— Мне Белохлебов их показал...

— Ах, негодяй! (Негодяй: относилось, конечно, к Драбэ.)

— И Розины письма тоже принес?

— Нет, Розу он не желает паскудить.

Путь Белохлебова: улица в булыжинах мостовой, в домах из камня, каждый, как гроб, а всюду, конечно, воронье на ветлах. Костюм Белохлебова: бекеша, треух, благополучие и довольство всем содеянным в жизни.

Встреча: Воронеж-Званский. Бу-бу-бу.

— Николай Иванович, вы?

— Варенец?

— Он самый. Откуда и куда?

— Собственно из дому и домой.

— Полагаю, маршрут надо изменить?

— Почему?

Ипполит Ипполитович Воронеж-Званский сумрачно в сумраке расстегнул пальто и показал из бокового кармана — из вылезшего лисьего меха — бутыль. Воронеж ткнул пальцем в бутыль, погрозил ей, сказал:

— Регардили? Галки или вороны, не знаю — усердствуют очень. Интеллигентная птица. Кричит и тоску наводит. Не переносу. И весной и осенью тоску по вечерам разводят. Услышишь и почувствуешь, что подлец ты своей жизни и блоха на земле. Идем к Драбэ в амбулаторию: он еще добавит...

— Неудобно. Я ведь сторона Кофина.

— Ерунда! Я ведь супер-арбитр.

— Ну, пойдем, что ли.

Пошли.

Вот. — Так. —

— Город осенний. Осенние сумерки опустошают города, точно вынут из города воздух: с улиц, оград, переулков одни лишь картонные стоят плохого художника. Драбэ и ветеринарная амбулатория на управском дворе. Жил сто лет назад дворянин Озеров, а в городе, чтобы не жить здесь, дом себе поставил архитектуры

ампирной с флигелями, конюшнями, садом, фонтанами. В шестидесятых годах разорились дворяне Озеровы, продали дом новому тогда земству; в главном доме земство управу поместило, фонтаны в саду к чертям полетели, двор травкой зарос, по флигелям (флигеля из двенадцатика строены были, хоть и крыты тесом) разместились: библиотека, бесплатная земская скотолечебница, сельскохозяйственный склад; заборы каменные остались, хоть и не являли мальчишкам препятствий к земскому саду; революция в Озеров дом, в старое земство — вселила исполком: заборы каменные — не остались, хоть и не являли мальчишкам препятствий к советскому саду, сад же пилили на топливо; сельскохозяйственный склад вывеску изменил на трудовой сельскохозяйственный склад, но стоял под замком, по бестоварью. Амбулатории ветеринарной пахнуть следует креолином, первым лошадиным средством, так она и пахнула. Ветеринару пахнуть следует креолином: так и пахнул Драбэ.

Разговор первый.

Белохлебов: «Куда тут?»

Воронец: «Вот-вот, направо или налево. Вылезли?»

Белохлебов: «Нну и темнотища, — наворотили!..»

Воронец: «По стенке валяйте, Николай Иванович, оно спокойнее для физиономии».

С неба за трубы флигель, как колокол, спущен, чтоб болтались люди языками; с потолка на цепи лампа-молния спущена, чтоб освещать стол в клеенке, сосновые стены из двенадцатика, кресла, диван, стулья и прочее без ножек, еще от Озеровых.

Длинный разговор.

Драбэ: «Недоумеваю! Когда кот увидел однажды, как люди, он и она, ухаживают друг за другом, он сказал: — Недоумеваю! почему это делают не на крыше?! Не-до-уме-ва-ю!»

Воронец: «Представляю. Драбэ. Ветеринар, лошадиный доктор, поклонник красоты; археолог, герой наших девиц, дам, кухарок и легенд. Дворянин».

Китти Лина: «Земляной человек! Я его так зову! — Знаете, Белохлебов, он леший! Я разговаривала с Кузьмой, и он сказал, что он знает заговоры... Земляной человек!»

Драбэ: «Отроковица! оставь доказывать всем, что ты ко мне равнодушна и что ты мне не нравишься».

Китти: «Фи!»

Белохлебов: «А почему вы пришли к такому выводу?»

Драбэ: «Это насчет того, что она мне не нравится, а я ей нравлюсь?»

Китти: «Фи! глупости он говорит!»

Драбэ: «Оставь, о тебе говорят, женщина!.. Серьезно. Я часто думал, как тяжело, как оскорбительно быть такой женщиной, да и вообще женщиной! Разговариваешь с ней и чувствуешь, что ломается она, кривляется, говорит глупости, пошлости и требует к себе почтения только потому, что она женщина, потому что ей простят, ибо она—баба, существо физически противоположное мужчине».

Воронец - Званский: «А послушай, а те мужчины, которые попадают на эти удочки, что же—выше стоят?»

Белохлебов: «Да, это серьезная тема».

Воронец: «Нет, пусть Драбэ ответит!»

Драбэ: «Что же, и мужчин дураков много».

Воронец: «Не дураков, а подлецов. И еще скажу: вопрос, что мерзостнее: на удочку попадаться или удочкой удочку ловить? Ведь насчет отроковиц и прочую ерунду ты всем женщинам говоришь!»

Китти: «Верно! Молодец, Званский! Молодец!»

Драбэ: «Хо-хо-хо!»

Воропец: «Эх, братики, никак вы не поймете, отчего мне выпить сегодня захотелось. Вчера лег — галки, сегодня встал — галки или вороны, не знаю; вечером решил, что грачи. Пить идите, готово». —

Ночь стала над городом, и дождь заморосил. На столе под лампой-молнией: спирт, селедка, помидоры, октябрь; — у стола: люди в разных позах. Костюм Драбэ: рубашка и шаровары в смазные сапоги взабувку, пахнут ветеринаром, первым лошадиным снадобьем — креолином. Голова Драбэ: как у тех, кто впервые доили скотину, вся в волосах, и глаза из волос наивно глядят. А Китти, а Китти: девятнадцать лет. Дождь идет медленно (дождь, оказывается, ходит), как дьякон с перепоя к заутрене, дождь капает с черного неба, а ночь черно-лиловая и пахнет конским потом, ветер шатается пьяницей, и вновь вложена в землю душа, круто заварена ржаная — ночи — каша, на конском поту.

Прощальный разговор, в коридоре без Китти.

Воропец - Званский: «На улице, прощаясь... ..али, как всегда делают мужчины — улицы, избывали печали, русские, без причины».

Белохлебов: «Слушайте, Драбэ... Насчет суда. Вы Галинины письма... неудобно...»

Драбэ: «Брось, Белохлебов. Кому-нибудь одному надо уже в дураках остаться. Я не хочу. Я и так не хожу домой уже целую неделю...»

Белохлебов: «А эта-то, Китти, как сюда теперь попала?»

Драбэ: «Ножками попала, ножками».

— Путь Белохлебова или путь слепорожденного, безразлично: глаз выткнуть, ни зги не видать, — путь Белохлебова: наощупь. —

И в ту же ночь, поздно ночью в ветеринарную амбулаторию к Драбэ приходила Роза Карловна: — «Это не-

честно! Это нечестно!» — Слезы на древних семитских глазах украсили ночь жемчугами. Роза Карловна рассказала, что рассказала Галине Глебовне. Драбэ ей рассказал, что он написал суду, — Драбэ ее успокоил, и она, Роза Карловна, успокоилась тем, что Драбэ отрекся от нее, сказав, что Кофин клеветет, и она, не раздеваясь, целовала Драбэ так обреченно и так поспешно, безвольная, спеша домой к мужу. Потом ночью, один, Драбэ долго читал «Старые годы» — о Ханском дворце в Бахчисарае. Дождь хлестал сиротливо, ветер шаркал по дому, и под диваном шарили мыши.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Третьей суд был назначен в квартире доктора Белохлебова. Товарищи третейские судьи собрались в кабинете. В двух разных комнатах, столовой и спальне, сидели стороны — Кофин и Драбэ. Первым вызвали Кофина, Кофин побыл пред судом и ушел. Потом побыл пред судом и ушел в свою спальню Драбэ. Затем их позвали обоих, и супер-арбитр строго предложил сторонам помириться, и стороны пожали друг другу руки. Доктор Белохлебов пригласил всех в столовую выпить по рюмке водки пред винтом с выходящим.

А над городом шла метель. Как, — неповторимого, — не повторить Пушкина, о том, что ветер вольный «всю жизнь провел в дороге, а умер в Таганроге»? Да, но город не был даже Таганрогом. Снежные космы, — первая была октябрьская метель, — лизали жухлую землю, выли, стонали, мчались (снег, оказывается, стонет). Метель, метель, метель! Муть, мгла, мга, зги. В домах лежанки, голландки, русские печи, железки. Первая мчит метель, — первая, первая. Как не рассказать — черассказываемое — о том, как в метели, в снегу,

в вое ветра, в мчании, — в скачке и пляске — вдруг возникает: —

— абсолютный покой,

— неподвижность,

— недвижность,

— тишина, —

баба с мордовским лицом.

Я близорукий, на очки снег налипает, очки леденеют, а без очков: я не вижу или вижу одну лишь зеленую муть, бьет снег по открытым глазам, из мути вдруг вырастают снежинки, все темнее и больше, чем есть, и смежаешь глаза, а надо руки вперед протянуть, — а дома, а церкви, а ветер, а снег над тобою склонились. Выше, выше! — черная (или лиловая?) ряса, — дьяконова, — по облакам в метели.

— Пассе.

— Пикендрясы.

— Червунцы.

— Малый шлем...

Так. — Вот. —

— А у Драбэ, — а у Драбэ была жена. Это к ней тогда пришла в школу второй ступени, на уроки, в большую перемену Галина Глебовна и Лина, — пришли, в белую зиму спокойствия Анны Сергеевны ворвались осенней слякотью. Это она тогда в спокойствии белой зимы сказала дамам, что они направились не по адресу. Это она тогда спокойствием белой зимы передала разговорец большой перемены мужу, чтобы прижабить Драбэ к подушкам дивана, чтоб почувствовать Драбэ, что он впрямь скотолечебник. У Анны был домик, совсем не под колоколом, домик был белый, там были дети, чтоб нести Анне их крест. Метель, метель, метель. В мути, — в ту метельную ночь, — шел Драбэ переулочками, за-

коулочками, всегда в тушике, в первой — в октябре — метели. В белом окне был свет. Постучал. Подождал. Постучал. Свет исчезнул в тени. Свет появился в прорехе для писем в парадном.

— Кто там?

— Это я, Сергей. Пусти, Анна.

— Уходи, негодяй!

Свет исчезнул в прорехе для писем. Больше не было в домике света.

Ночь. Метель. Муть. Нехорошо! Зябко —

— Охотничьим рогом —

— Эолова арфа — метель:

— До-до! до-соль! до-ооо!..

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

В семнадцатом веке попы, дьякона и причетники записи писали. Дьякон записи эти нашел через три с половиной столетия. Дьякон тетрадку купил, чтобы переписать эти записи. В записях дьякон прочел о воеводе Никите, гробницу сыскал, — летом, — размуравил ее, когда солнце колосось о кирпичи Кремля, а осенью батюшка замуравить велел дыру, потому что надо было капусту солить. Дьякон, управским писцом, водку хлестал на управском дворе в ветеринарной амбулатории; в духовном звании дьякон водку хлестал уже с духовными лицами; с батюшкой дьякон жил в пререкательстве, дьякон был острослов, батюшка был меланхолик, вдвоем водки не пили, но у купцов по приходу чин заставлял их быть вместе, и, выпив, дьякон шутил над духовным своим начальством, и батюшка мстил: в церкви богослужили лишь в праздники и под праздники, в будние дни не богослужили, и каждый раз батюшка мстил одним и тем же манером, и каждый раз дьякон попадался в расплохе: с пиров, от купцов, где

выпивавший дьякон шутил, потихоньку уходил батюшка и, вернувшись на Спас, говорил звонарице: — «Звони!» — Звонарица звонила к вечерней, и пьянецкий дьякон от купцов через весь город, рясу в руки забрав, мчался домой, чтобы богу служить, едва держась на ногах, в пустой церкви пред недоуменно заблудшей старухой. Растет жизнь иного дубом, дубом и валится в старости, — растут жизни иных ветлою, осиною, осокой, волчажником, — больше ветел на свете, чем дубов и берез, чтоб рубцеваться повсюду и возрастать на песке колом, воткнутом в землю, — впрочем, ветлы бывают иной раз — бамбуком. Революция много рубцов нарубила на разных бамбуках, — попово древо крепко уперлось в рубцевальню народной стихии: у батюшки жена ушла в полюбовницы к комиссару, в городе девичий монастырь разогнали, и батюшка — в полюбовницы взял монашенку.

— Ночь. Баня: холодно в бане. Дьякон с котом на печи, в тулупе и блохах. Первый падает снег, первая метель. Март или октябрь — все равно: мартовской метелью прошел октябрь по земле. В первый снег утром — мягко тикают часы, по-зимнему, а за окнами мальчишки в снежки играют. Дьякон от мира в баню ушел, откуда командовал домом, с л о в а искал, в баню взял с собой одного лишь кота. Кота дьякон учил праведной жизни — не есть скоромного; дьякон и кот ели лишь постное: дьякон — хлеб и картошку, а кот — картошку и свеклу. Кот был очень смиренен.

Ночь. Мрак. Воеет метель.

Дьякон: Кто еще там?

Драбэ: Это я, Сергей Терентьевич. Мимо проходил, вспомнил о тебе, дьякон. Мудришь?

Дьякон: Мудрю.

Драбэ: Ну, а вымудрил что? Я к тебе, дьякон, по делу... Надо водку пить бросить и баб. Нехорошо, дьякон.

Помнишь, как мы с тобой под церковью копались, старину искали? — дураки говорят, что по-умному жить надо. Стихия, брат, биология.

Дьякон: Помню, брось; — баб то есть. Вот мне надобно знать, кто на земле доил скотину, — баба или мужик, и корову или кобылу? Ох, до чего наворотили, дьяволы, в миру.

Молчание.

Дьякон: Баба, надо полагать, доила, то есть, — для ребенка. И тоскливо же бабе было доить! чай, все думала: — «ну, а как вдруг меня подоят?!»

Драбэ: Это ты правильно, дьякон. Тоскливо. Только доил-то, наверно, мужчина. Ну, какая же баба далась бы доиться? — неестественно. Ей и в ум не пришло бы доить. Это, должно быть, парни впервые проделали — от озорства.

Дьякон: Что-о? от озорства? — от озорствааа?!

Драбэ: Ты что обрадовался? Кобыленку какую-нибудь, а поймали бы девку — девку стали доить бы...

Дьякон с печи сполз, кот с ним вместе спрыгнул. Дьякон стал перед Драбэ.

Дьякон: Стало быть, и весь мир от озорства?! Нет, постой, объясни, как же так? — и кобылу? — от озорства!.. А я-то, а я-то, — бабу жалел, — от озорства!.. хо-хо-хо! хии-хи-хи!.. От озорства!

Драбэ: Мудришь, дьякон. Впрочем, и люблю тебя, что мудришь. Понимал, кончил институт, теперь все забыл. Женился, любил жену, жена прогнала от себя. Дураки говорят, а я не знаю — умна жизнь или полезна, а смерть — глупа или вредна. Полагаю, глупо быть умным. Понимал, корягой, дубьем, стоеросом жил. Ломиться надо корягой. Революция миру коряга. Не-до-уме-ва-ю, почему не на крыше?

Дьякон: От озорства, хии-хи-хи! Революция миру коряга!.. А я-то, — а я-то!..

Кот у дьякона картошку и свеклу ел, вегетарианцем был. Дьякон руками махал перед Драбэ, кот у двери во мраке прижался. Когда Драбэ, уходя, дверь в метель отворил, кот-вегетарианец из бани стремглав полетел, хвост поджав по-собачьи, с разбега в забор уперся, очумело вскочил на забор, с забора махнул на кремлевскую стену, оттуда на крышу, к попу. Кот, ни разу не видавший мяса, конину в чулане учуял у дьякона. Пожалеть кота надо, — кот с рычаньем на мясо набросился, мяукал неистово и мясо сожрал: восемь фунтов, — и кота не видали больше — ни в чулане, ни в бане, ни на заборах: кот вообще со Спаса убрался.

Утро в тот день пришло в баню снятым молоком, окна банные стали, как бумага, в которую когда-то заворачивали сахар. Утро пришло в баню в тот день — белым морозом, алмазами белыми на стенах и углах. Дьякон в рясе сидел на нижней ступени полка, локти уперши в колени и щеки вложивши в ладони, — и глаза — не зрачками, — а красными веками на лиловых белках, готовыми лопнуть, говорили — чорт знает о чем! Темно было в бане и холодно, дьякон сидел неподвижно, — дьякон не видел алмазов, метелью насаженных в окна. За баней снег заскрипел от шагов.

Сын: Папанька, замерз? А знаешь, у отца Алексея, у батюшки нашего, — сын родился — от монашки. Ночью монашка сына родила!

За баней снег заскрипел от шагов, в баню — квашню — дьяконица ввалилась.

Дьяконица: Отец! кот у тебя? Кот конину сожрал, — восемь фунтов. Дознаюсь, чей кот!.. Восемь фунтов! Твой-то кот у тебя? — Вот учил, вот учил, а он конину, — пол-задней ноги!

Сын: Маманька! А у отца Алексея — от монашенки — сын родился, девять фунтов, здоровый!..

Дьяконица: Что-о? А где кот?.. Мать Гликерия сына родила?..

Дьякон сидел неподвижно. Дьякон поднялся с нижней ступени полка. Дьякон крикнул громчайше:

— От озорства!.. Не-до-уме-ва-ю!.. от озорства! — от озорства!..

Дьяконица: Баааа-атюшки!..

Дьякон: Кот убег. Кот сожрал восемь фунтов конины. А Гликерия девять фунтов родила. От озорства!.. Матка, беги. — Васька, беги, сукин кот! — желаю записаться в Российскую коммунистическую партию большевиков и служить буду верой и правдой. Желаю из бани выйти!

— Сворачивай!! Видишь, — господа земские начальники едут!.. — Дьякон три дня отсыпался после бани, спал, как из ведра.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Метель. О-го-го! метель!

Это было так. Перед окном стоят стройные елочки, там, дальше, огородный пустырь, за огородом река, как свинец в осеннем дне, река изгибается крутой лукой, и на той стороне, на луке, на холме стоит белый дом среди старого парка. Этим домом к реке выпер город. Сумерки грузились тем свинцом, которым некогда паковали чай, земля была черна и безмолвна, стройные елочки стали у моего дома, пихты у того дома на луке, — и в небе. — Памиром в пасмурный день, горами — строились громады туч. Тучи были з и м н и е. Тучи пошли снеговыми полчищами. Тучи распределяли свинец, чтобы ему побелеть. На дворе с громом хлопнула калитка, — первый вестник, — и под окном полетели листья, бумажки, стружки,

снова громко упала калитка, ветер с плеча уперся в дом. И сразу кинуло снегом на черную землю. Домна принесла дров, грохнула на пол. — «Замело, замело-то, не видать ни-синь-пороха!» — Что же. — Метель! Ого-го, метель! Кресло — к печке, книги те, что в пыли в углу на полу. Ветер-гуляка одним мехом без клавиш в гармонику дует, — снег на землю пошел деловито, объясняться с землею в делах. Стройные елочки — синие, белый снег и — ни-синь-пороха. — «То, как зверь, она завоет, то заплачет, как дитя, — то, как путник запоздалый к нам в окошко застучит».

— Никакого путника я не жду.

— «Дров принесите, Домаша, побольше. А спать завалюсь в восемь часов. Самовар приготовьте».

Снег снеговыми мехами землю покрыл, окна посиззели по-зимнему, часам тикать по-зимнему, по-метельному, по-метельному врукопашную с домом пойти ветру и по-метельному дому на ночь объершиться. Самовар в восемь часов свил свою веревку, чтобы в печке углям стать парчевыми. В пыльной книжке написано о старых колоколах, о Корноухом — Угличском, о Московском Ивана Великого, о прочих знаменитых колоколах, — и решил, что метель, главным образом вот — гудит по-звериному, зверем, которого нет. А потом — ночь. Дому — ершом стать в метели, ворчать, хрипеть, скрипеть по-стариковски, сердито — хранить тепло свое и меня.

А ночью — глубоко за полночь — к вою ветра, к шумам и крикам метельным — влились в них дубасы в окно, у дверей, в водопроводную трубу: «То, как путник запоздалый, к нам в окошко застучит». И сквозь форточку — из метели — в метель в белом белье я услышал бас товарища Воронова:

— Гей, товарищ Борис, отпирайте!

— Это пришли коммунисты из белого дома на луке: этим домом в метель выпер город. Товарищ Елена кричала в метели:

— Метель! Мы гуляем. Разве можно уснуть такой ночью! Метель!

В дом, со снегом, с метелью, с морозом ввалились веселые люди. Дом — старый хрыч — зашумел, загудел, зазвенел в этажерке посудой от тяжелых — по половицам скрипящим — шагов товарища Воронова.

А за домом метель — замела, завывала, закружила, кинула в белую бучу снегов.

— Го-го-го-го! Метель. — Это Воронов.

— Товарищ Борис, милый философ! Над землею метель, над землею свобода, над землею революция! Как же можно так спать?! Как хорошо! как хорошо! — Это товарищ Елена.

Товарищи Павлов, Собакин, Агапова — враз и по-разному запели разные песни. Товарищ Воронов басом — Орешиным — перекрикнул метель:

Или — воля гольтыбе!

Или — в поле на столбе!..

— Ого-го! Метель!

Товарищ Елена стиснула руку: вперед, без дороги, в белую бучу метели! Ничего не поймешь — жердь огородная, что ли? — канава? — жердь огородная, снег холодящий по пояс: конечно, поэзия, конечно, поэма. Здесь на минуточку встать, — подождать остальных, как поваляясь в яму, — и не выпустить руку из рук.

— Милый, товарищ Борис! Какая метель! как хорошо, — как хорошо!

А потом всем стоять, — как волчья стая в метели — обсуждать, —

— вот мелькнула папаха Павленки и исчезла за снегом, а соседка — Елена — видна лишь по пояс —

по пояс вросла в белую муть, а Собакин овеил теплом от дыхания, вырос громадой больше, чем есть, и Елена, и я полетели в холодную снежную мягкость.

Обсуждать:

— Реку на мост в обход обходить или плыть через реку на лодке, пробивая по ломкому льду себе путь.

— И решили: на лодке. — Лодку, как сани, тащили на лед, и под лодкою рухнул ледок. На середине реки не было льда, там шло сало, — аах, как ветер кружил в белой мути! — и пристали на той стороне далеко от места, где надо пристать. В парке ветер с деревьями шел врукопашную.

— Милый, милый товарищ Борис!

— Милый, милый товарищ Елена!

— Как хорошо! Свобода, метель!

— Ка-ак хо-ро-шоо!..

В белом доме — колонный зал. В колонном зале горит пустынная свеча. Почему губы женщины всегда горьковаты и рассвет идет мертвецом? Там, за окнами ночью была метель. Утро пришло синим мертвецом. Нету метели. Снег лежит покорно. В белом зале — белый свет, по-зимнему идут часы. В белом зале ненужную свечу я потушил.

Ну, вот:

— снег лежит покорно, там за окнами была
метель,—

— по городу идет буденный советский день.

Скучно. Будни. Рабочий день. «Соединенное заседание наробраза и здравотдела». «Сводки декретов, статбюро и продкома». «Разъяснения центра». Цифры, цифры, цифры, — цифры всегда белые, сухие и меняющиеся. Люди в кожаных куртках, незнакомые, бог весть откуда, с диалектом: комгосоор, рабсила, начэвак. Прибавочная стоимость, партийные директивы. В каждой комнате по

железке, жарко и дымно, а у железки барышня щиплет лучины.

«Рабкрин не утверждает смету здравотдела, — отношение из центра № 50007. Секция соцкультуры приготовила доклад, где в резолютивной части... Ордер улескома лежит третью неделю, нет дров».

Кожаные куртки, папахи. Руки надо греть у железок. Новая экономическая политика, — необходимо разобраться, как из бесконечных противоречий получается система практики, логически согласованная, — чем? «Надо учиться заново — вот у них, у «нижних чинов». Очень скучно. Лица под папахами — очень скучные, как будни. Товарищ Воронов сворачивает махорочный крючок, руки не слушаются, — и на корточках закуривает его от железки.

— Примите телефонограмму. «Всем культотделам предлагается строго согласовать свою деятельность с политпросветом, который организует сексоцкультуры». Распоряжение из центра. — «По данным статбюро учащихся в уезде столько-то, обутых из них двадцать процентов, т. е. столько-то. Чрезвычайном по борьбе с безграмотностью обучено столько-то взрослых, осталось столько-то, т. е. сорок семь процентов. На приварок детям в школах отпущено столько-то пудов овса и воблы. Десять процентов школ не приступают к занятиям из-за отсутствия стекол в республике».

— Станция? — барышня, станция?.. — Дайте мне пожалуйста фарпод санотдела.

День белый, день будничный. Утро пришло в тот день синим снегом. Скучно. Советский рабочий день. А оказывается, этот скучный рабочий день и есть — подлинная — революция. Революция продолжается.

Никола-на-Посадах,
ноябрь 1921 г.

НАСЛЕДНИКИ

С Соколовой горы, говорит предание, пришел Стенька Разин, — и уже в книгах есть о том, что оттуда же подступал Емельян Пугачев. Стоит Соколова гора над Волгою и степями, хмуро оборвалась в Волгу, разбойную реку. Стоит город над Волгою. У Глебычева оврага, около Старого собора (стоит у Старого собора пушка, Пугачевым оставленная), в старом городе, на взвозе от Волги, застряв от позапрошлого века, стоит старый дом с колоннами по фасаду, окрашенный охрой. Некогда в доме давались балы и жил именитый дворянский род Расторовых, последние двадцать лет в доме, вместе с домом, умирала старая хозяйка его, Ксения Давыдовна, старая дева. В тысяча девятьсот семнадцатом октябре она умерла и теперь в доме, сыром, холодном, разваливающемся, раскраденном, живут — наследники. Разметались было по лицу России, строили свою жизнь в Петербурге, Москве и Париже, двадцать лет дом пустовал, умирая, — пришла революция, взметнулась народная вольница: сородичи Расторовского рода собрались в свое гнездо, — от революции, от голода.

Над степью, Волгой и городом творились метели, скакали снежные кони, — творилась революция, такая же, как при Стеньке Разине, разбойная — вольная вольница. Комнаты в доме были старые, темные, сырые, холодные. За

окнами был Старый собор, и под взвозом лежала Волга, в белых снегах, с пароходами у пристаней, в семь верст шириною.

Сначала в доме жили коммуною. Но, верно, коммунизм слишком несовершенен, — разгородились, окопались каждый в своей комнате, каждый со своим горшком и самоваром. Живут в доме злобно, скучно, мелочно, ненужно, проклиная революцию и жизнь, живут оторванные от жизни, вне жизни, обернувшись к старому и ожидая это старое.

В семь часов, когда еще синяя муть, просыпается генерал Кирилл Львович, надевает бухарский халат с кистями и, запалив свечку от лампы, идет в нужник. В нужнике холодно, клубит пар, на стульчаке, как в трактирах, грязь и ледяные глетчеры, генерал хрипит строго, зажимает нос, затем будит жену и шипит:

— Анна! Это чорт знает. Это чорт... Спроси у твоих родственников, кто так портит ватер? — ведь у нас прислуги нет!

В комнате тесно наставлены вещи. Это и спальня, и гостиная, и столовая. В приземистые оконца, в тяжелых шторах, идет синяя муть.

— Ведь у нас прислуги нет! Чорт. Сегодня ставить самовар твоя очередь. Гильз нет? — Генерал ходит по комнате с руками назад, пальцы его в бриллиантах.

— А тебе итти в районку и за хлебом, — говорит Анна Андреевна.

— Знаю. Оставь пожалуйста. В доме живет четыре семьи и не могут организовать, чтобы по-очереди ходили за хлебом. Дай лист бумаги, чернила и кнопки.

Генерал садится к столу и пишет:

«Господа! у нас нет прислуги, мы сами должны убирать за собою. Не

всякій может садиться орломъ,
и потому прошу быть аккуратнѣе.

Кирилл Лежневъ.

Кирилл Львович — не наследник, из рода Расторовых его жена, он приехал с нею. Кирилл Львович берет свое объявление и вешает его у дверей нужника. Затем опять ходит по комнате, поблескивая бриллиантами, и говорит ворчливо:

— Чорт знает. Сергей с семьей занимает три комнаты, а мы одну. Я уеду отсюда. А еще родственники. Гильз нет?

Анна Андреевна — тихая, усталая, слабая — говорит устало:

— Знаешь же — нет. Сейчас поищу окурки. Лина иногда бросает не вывернутые.

— Ишь, какие буржуи: окурки бросают, прислугу держат!..

В темном суставчатом коридоре навалена рухлядь, потому что коридор никто не желает убирать. Анна Андреевна роется в бумагах и соре около печки Сергея Андреевича (жена его — Лина), отворяет дверцу и видит, что прислуга Леонтьевна, одноглазый циклоп, положила дрова березовые, — когда условлено было топить сначала гнилушками от беседки. Генерал сладко курит папироску «своего» табака, затем идет на двор за дровами, приносит гнилушки. Самовар уже готов, генерал пьет чай, много и долго, Анна Андреевна топит в коридоре свою печь. Светлеет медленно, по-зимнему, мутно. За стеной уже проснулась семья Сергея, заведывавшего отделением в министерстве, и слышно, как Лина говорит детям:

— Кира, ты уже достаточно съел белков, возьми углеводов.

— Картошки?

— Да.

— А зиров?

— Ты уже достаточно съел жиров.

Генерал хитро улыбается, сумрачно ворчит:

— Не едят, а питаются!.. — и отрезывает себе кусок сала, с белым хлебом, чай пьет с солодским корнем и сушеной дыней.

Дом просыпается медленно, по коридору, около открытой двери генерала, ходят с ночными горшками, пустыми самоварами, с зубными щетками и полотенцами, полуодетые и заспанные. Генерал пьет чай, наблюдает и злится. Боцает мужскими сапогами циклоп-Леонтьевна, прислуга Сергея, «с биржи», — смотрит хозяйственным своим одиноким глазом в печку Анны Андреевны и говорит:

— А дров-то вы как следует наложили, — много.

Генерал отвечает из своей комнаты:

— А вы березовые взяли!

Циклоп вспыхивает, бьет себя по ляжкам, — происходит очередной скандал.

— Как?! Мне не доверяют, за мной следят! Лина Федоровна, пожалуйста расчет, я в биржу пожалуюсь!

Лина Федоровна кричит от своей двери:

— Как?! Ей не доверяют, за ней следят! У нас в доме шпионаж! А еще интеллигентные люди!

— А дрова-то все-таки березовые!

— А еще интеллигенты!

Генерал появляется в коридоре и говорит строго:

— Не нам рассуждать, Лина Федоровна. Мы здесь не наследники. Вот мне очень странно, почему Сергей занимает три комнаты, а Анна одну, — очень, весьма странно!

И скандал растет. Генерал одевается и уходит, довольный, в очередь за хлебом. Лина стремится к мужу. Муж идет объясняться, генерала уже нет, он говорит с сестрой Анной Андреевной.

— Это невозможно, это недопустимо, это сыск!

— Да пойми же ты, что все это из-за окурка, — отвечает тоскливо Анна.

Лина сидит наверху у Екатерины и рассказывает ей все во всех подробностях.

Анна идет к Константину, лицеисту, младшему брату. Константин говорит о том, что он занят и сейчас сядет за стол писать, но вскоре направляется к Сергею.

— Занят?

— Что? — занят, да.

— Позволь прикурить.

Закуривают махорку, которую называют «кэпстэн». Молчат.

— А то, может, шахматешки? — говорит Константин.

— Да нет, собственно, — отвечает Сергей.

— Ну — одну?

— Ну, разве одну? Только одну!

Садятся и играют. Константин одет в потрепанный свой лицейский мундирчик, на пальцах у него, как и у генерала и Сергея, — кольца, на шее старинная золотая цепочка: дело в том, что, боясь обыска и разграбления, все драгоценности наследники разделили и носят на себе. Играют одну партию, затем вторую, четвертую, шестую, — курят, спорят, вновь уговариваются не брать ходов. Генерал приходит с базара, из очереди и прохаживается по коридору, заглядывает в дверь, наконец решается и входит.

— Молокососы, играть не умеете.

— Как умеем.

— Ну-ну! Ты не сердись, не сердись!.. Погорячились — и будет. Если я виноват, — извини старика. Я Кирку за газетой послал, — дал ему двугривенный на подошлухи.

— Да я и не сержусь.

— Ну, вот и отлично. Вы бросьте этого персидского шаха. Давайте префераншишко.

И садятся на весь день за преферанс, прерывают только затем, чтобы сходить в свои комнаты пообедать, у Сергея на второе «холодец» из верблюжины. Когда Сергей ремизится, он говорит:

— А все-таки, Кирилл Львович, у вас отвратительный характер!

— Ну-ну, молокосос!

Денег нет. Опекушкой над владениями назначена Катерина Андреевна. Мужчины теперешний строй не признают. Лишь у Сергея остались деньги от проданного перед революцией имения (недаром у него прислуга).

У Катерины сидят две девушки, принципиально бросившие — одна гимназию, другая консерваторию, говорят вяло и помогают чистить картошку. Проходят Анна и Лина, и все вместе спускаются в кладовую, роются в старинных платьях, оставшихся от бабушек, в разных фижмах, робронах, тюрнюрках, откладывают в сторону серебро, фарфор, бронзу, — после обеда придут татары. В кладовой пахнет крысами, стены уставлены ящиками, баулами, чемоданами, висят огромные ржавые весы.

К приходу татар собираются все. Мужчины садятся в стороне. Татары — их двое — здороваются со всеми по очереди за руку. Генерал сопит. Татарин-старик, в новеньких галошах на валенках, говорит Катерине:

— Как подживяете, барина?

Генерал закидывает ногу на ногу, качает ногой, говорит строго:

— Будьте любезны, — ваша цена.

Татары перебирают старье, хаот хаоднокровно, назначают несуразные цены. Генерал хохочет и пытается острить. Катерина злится, говорит наконец:

— Кирилл Львович, так же нельзя!

Генерал вскакивает, отвечает:

— Ну, да! Я не наследник! Я могу уйти.

Генерала успокаивают, торгуются с татарами, татары небрежно вскидывают на руке — старинные платья с кружевами крепостного плетения, старинные ручной работы шандалы, подзорную трубу, ацетиленовый фонарь. В приземистые оконца заглядывают сумерки. В морозных сизых сумерках, точно через толстейшее стекло, виден Старый собор, помнящий Стеньку Разина, перезванивают колокола. Наконец татары хлопают по рукам, проворно-привычно свертывают купленное в кокетливые тючки, платят керенки из пузатеньких бумажников и уходят.

Тогда наследники делят деньги. Сидят в гостиной. Оконца в шторах; висят в марле (лет двадцать не снималась марля) кенкэты и люстра, портреты. Стоит желтый, дубовый рояль, плюш на мебели вытерся, полысел. В комнату идут полосами лиловые сумерки. Наследники одеты экзотически: генерал в халате, расшитом золотом с кистями; Сергей в черной николаевке, с бобром; Лина в душегрейке на зайце; Катерина опекушка, старшая, с усами, — в осеннем мужском пальто, нижней юбке и валенках, — в доме холодно. На всех надеты драгоценности, — кольца, серьги, браслеты, колье.

Сергей говорит нехрабро:

— Теперь трудное, в сущности, время, — я предлагаю разделить сумму по количеству едоков.

— Я не наследник, — вставляет быстро генерал.

Константин отвечает с холодной улыбкой:

— Я не разделяю социальных взглядов. Надо разделить по количеству наследников.

Спорят. В окно идет синий вечер, перезванивают колокола. Соглашаются трудно, Катерина приносит самовар, все идут за своим солодеким корнем и хлебом, пьют чай, довольные, что не надо ставить самовара.

Вдруг, неожиданно-тоскливо и потому хорошо, говорит генерал:

— В том тюрнюре, что сейчас продали, я поручиком-женихом встретил впервые бэль мэр Ксению... Если так будет еще... Если бы мне сказали, что большевики пробудут еще год, — я застрелился бы. Ведь я страдаю. Ведь мне очень больно. А я старик... Не стоит жить.

И были очередные слезы. Плакал старчески генерал. Плакала, всхлипывая басом, усатая Катерина. Плакала Анна Андреевна. В углу, обнявшись, стояли две девушки и тоже плакали, — потому, что их молодость и пьяное вино девственности остались за бортом.

— Если бы возможно было, — говорит Катерина, — я бы стала расстреливать всех.

Вошли дети Сергея, Кира и Ира. Лина сказала:

— Дети, возьмите себе белков.

Кира намазал хлеб маслом.

В небо взошел месяц. Звезды стали черствыми. Снега сини. Волга пустынна. Место у Старого собора глухо, безлюдно. Мороз кует, сковывает. Барышни Ксения и Елена, Сергей, генерал — идут к дому, кататься, со взвоза на салазках. Константин уходит в город, в клуб кокаинистов, — кокаиниться, говорить сусальные пошлости и целовать руки женщин, пропахших телом. Леонтьевна, прислуга с биржи, циклоп, ложится в кухне на лавку, молится перед сном и засыпает, почив от дня, — с биржи она, властная, степенная, скандальная.

Генерал стоит у крыльца. Сергей втаскивает наверх салазки, садятся трое в ряд, — Ксения, Елена и он, — и мчатся по скрипучему снегу вниз, на волжский лед. Санки летят стремительно, и в этом стремительном лете, в снежных брызгах и скрипе, в колком, захватывающем дыхание морозе, — Ксению грезится счастье: — обнять, обнять мир! благословенна жизнь!

Мороз жестокий, жесткий, парной. Генерал хохлится, как воробей, мерзнет, кричит с крыльца:

— Сергей! Сегодня такой мороз, что обязательно лопнут водопроводные трубы. Надо установить на ночь дежурство.

Быть может, Сергею, тоже почти старику, в быстром саничном беге грезится счастье, — он кричит:

— Пустяки!

И вновь стремительно катится вниз от Старого собора, на Волгу, за барки и пароходы, к простору синих льдов, горящих зыбкими снежинками.

Но генерал уже взволнован. Он идет в дом, поднимает всех на ноги:

— Господа! Если мы не будем понемногу спускать воду, водопровод замерзнет, трубы лопнут. Мороз — 27.

— Но ведь кран в кухне. Там спит Леонтьевна, — говорит Лина.

— Разбудить!

— Нельзя!

— Ерунда. — Генерал идет в кухню, тормошит Леонтьевну, объясняет про водопровод.

Леонтьевна вопит:

— Я в биржу пойду! Не дают спать! Лезут к нераздетой женщине.

Лина лепечет за Леонтьевой:

— Она в биржу пойдет. Не дают спать! Лезут к женщине.

Прибегает Сергей.

— Оставьте, пожалуйста. Я отвечаю. Дайте Леонтьевне спать! Ну ее к чорту!

Генерал говорит обиженно:

— Конечно, я не наследник.

Над степью, над Волгой, над городом идет ночь, идет мороз. В мезонине тоскуют Ксения и Елена. Генерал не может уснуть. Константин приходит поздно, бесшумно пробирается к Леонтьевне. В окна дома идут лунные пласты света.

Водопровод за ночь промерз и лопнул.

Саратов,
январь 1920.

СТОРОНА НЕНАШИНСКАЯ

Бог: перерекламлен, переболтан, никто не верит, стащили за многое с неба на землю, смотрят, как у реки чужого утопленника. — Утопленник посинел: — солнце июльское, но кажется, что утопленнику холодно, точно сорок мороза; — качнули, положили на тачку, и из ушей, изо рта хлынуло зеленое: — и, все же, в июле, в зное, страшновато, потому что вот тут, рядом никогда непонятная, *смерть*, — и январский холодище бежит по лопаткам: *смерть!*

Монастырь: мужской, домовитый, с подвалами для капусты, с маковками, как лук для небес. Монахов разогнали вместе с богом: кто в коммунхоз, кто в конокрады; двое при колокольне, один за нотариуса, другой за медика: нотариальная контора и амбулатория в колокольне, в каморке за сводами. В монашских кельях — караульная команда, песни, митинги.

Город: вокруг монастыря камень, дерево, палисады, скука, народный сад, сельтерская местного завода, мухи; — вот-вот сорвется кто-то с цепи от скуки и побежит благим матом — поюродствовать с горя.

Люди: с горя живут, с горя родились, его величество обыватель, купец, мещанин, — а те, кто не продает и не шьет сапог, кому продают и шьют и кто чем-то мучится, где-то заседает, строит новую Россию, голодает — этот

к городу не относится. У купцов, со скуки возникших, для этой скуки такие перины, что мозг должен расплавиться.

Годы: иду.

Год: 1925. —

II

Земотдел снял (и домовито поступил, хорошие) подвалы в монастыре для коммунальной капусты. Десятник Дракин их очищал от мусора, приводил в порядок с помощью двух слободских девок; — девки — слободские, Дракин — жуковский, первый в трактире «Европа» человек. Около все время тискался монашенка (бородатый, рыжеватый, точно медведь в рясе, точно не выспался).

Девки таскали сор, и на дне в подвале (был август, жара) в углу увидели доски, доски подгнили, девки сели отдохнуть, девка вместе с доской провалилась в яму, — Дракин полез осмотреть. В яме были сундуки, в сундуках была церковная утварь, серебро и золото и чудотворные иконы.

Дракин яму вновь завалил, досками уклал, а девкам — по пять золотых, чтобы молчали. Девки купили себе новую обую-одежу: в земотделе отбоя не было от слободских баб, — просились на службу: хорошо платят в земотделе!

Вот и все для начала.

Прошел год, — то есть: зима, когда надо купцу спать по двенадцати часов, дуреть от сна и постели, от экономии пребывая в лампадках; весна, когда купцу надо чертогонять, чтоб не умереть от тоски по прекрасному (у каждого веснами есть такая тоска) и, чертогоня, чертогонить свою душу; осень, когда надо на зимнюю спячку и еще рассчитывать с летними подлипками и чаями за палисадом.

И купчиха Лардина побила стекла купчихе Посудиной, обе так называемые нэпманши: за мужа. Орала на улице непристойности, потому что у нее был муж, которому

она не потакала, а Посудина была женщиной обильной, доброй, муж был безногий, тихий, и жене потакал, и жена ему потакала, когда он пьянствовал с Лардиным.

Стекла были побиты, и Посудина, обсудив вопрос с мужем и Лардиным, подала на Лардину в народный суд — за срам и за колотые стекла.

Лардина на суде держала себя не тихо. Говорила не по сути дела, но в корень вещей. Орала:

— Я женщина, измываться над собой не позволю. Этот безногий чорт — чего глядит? — или золото да самогон глаза застыт? — Это нешто правильно от живой жены к чужой бегать? — А то и пусть бегае, не нуждаемя, своего заведем хахалю, — а вот он вещи мои ей таскает, а у меня дети. А то вот скажу суду, как церковное золото продавали в Москву, на какие деньги открыли торговлю, кампанию...

Суд, хотя она только грозилась ему рассказать, дело о золоте воспринял живо.

Судебным следователем был (потом только это бросилось в глаза!) — бывший студент Башкин, то есть родной брат Посудиной. — Лардину отправили в Москву на предмет психического испытания (потом только узналось, что ездила она по адресу, куда сплавлялось золото!) — испытание установило ее сумасшедшей, — бумагу представили судебному следователю и студенту Башкину, и Башкин направил дело к прекращению.

Дело пошло в зимнюю спячку.

Узналось же дело — вот каким путем.

Десятник Дракин попал в тюрьму — по совершенно самостоятельному делу: — по обвинению в «краже с убийством», по обвинению в соучастии. Взяли его прямо из трактира «Европы».

Ну, и вот этот самый Дракин, по русско-щедринскому обычаю, топясь, решил топить и все, что можно, —

и рассказал, что там-то и там достали они с купцами (сиречь напманы) Лардиным и Посудиным двадцать один фунт золота и шесть пудов серебра, переливали все это из церковной утвари в слитки в бане у Лардина, а продавали — и прямо в Москву и местному еврею Молласу, а остатки спрятаны в бане у Посудина.

Вот и все.

III

Тюрьма: на главном в городе месте, вокруг каменная стена и там белый дом, — и в доме только в первую ночь страшно, потом узнают имя-отчество начальника и имена сторожей и приучиваются, как прятать деньги, спички и карты, как коротать время, и свои появляются клопы будней. В тюрьме коридоры, от них за волчками двери. Утром подметают сор, и поднимается солнце, и идут за кипятком, и шутят, и здороваются, — кто знает, как прошла ночь, каким горем и болями какими? —

Девки, что таскали из подвала сор, выпустили через неделю; неделя в тюрьме у них прошла так: первые сутки они были вместе в один голос, а через двое суток арестанты по их — если не инициативе, то безмолвному соглашению — и в их пользу — устроили публичный дом, в очередь, в мужской камере. Потом их отпустили за их бестолковость.

Купчих Лардину и Посудину посадили вместе, и они очень сдружились, жили мирно, изводили клопов далматским порошком, а надзиратель Петр Игнатьевич разрешил им иметь при себе керосинку, чтобы готовить самостоятельно от арестантов себе и мужьям и дежурному ключнику. Одеяла они принесли собственные, перин не допустили. Они и донесли на слободских девки, потому что и их мужья стали интересоваться мужской камерой.

В тюрьме было очень тепло, топили хорошо. Еврея Молласа посадили вместе с монахом (долго искали монаха

«бородатый, рыжеватый, точно медведь в рясе, точно спростонья»; таких монахов нашли несколько, никак не могли установить, который из них тискался у подвала, и посадили первого попавшегося).

Следователь Башкин, он же некогда студент второго курса юридического факультета, в давние времена перешедший на второй курс по инерции, две недели сидел покойно, потом, вспомнив туманно, что в тюрьмах объявляют голодовки, как требование, плохо поняв, в чем тут дело (ибо рассуждал, что от голодовки выигрывает только тюрьма — меньше идет пищи), — все же объявил голодовку, не ел шесть дней, требовал, чтобы его признали невиновным и отпустили на свободу, к виновным же приплетал явно неподходящих, — но в тюрьме смотрели на дела так же, как и он, и решили: пусть ломает дурака, самому же скучно не есть, а государству доход, не ест — значит кается!

Потом нескольких из них перерасстреляли, — тут же за тюрьмой, на церковном дворе тюремной церкви.

Годы: идут.

Город: камень, дерево, палисады, скука, народный сад, сельтерская местного завода Люлин (и) К°, мухи; вот-вот сорвется пожарная каланча и побежит благим матом — от тоски, от одури, от горя, от смердяковщины — заплещет в народном суду и по всему небу разведет такую матерщину, что небу станет жарко!..

Москва, на Поварской.

Дата утеряна.

ИВАН МОСКВА

*Und mein Stamm sind jene Asra,
Welche sterben, wenn sie lieben.*

Heinrich Heine.

Посвящается О. С. Щербиновской

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ГЛАВА

Обстоятельство первое.

«Второй закон, о полезном действии энергии, будет для настоящих целей с достаточной ясностью установлен, если мы скажем, что одно и то же количество энергии может быть использовано только один раз. Для получения полезной работы из какого-либо источника энергии, покая или потенциальной, необходимо превратить ее в новые формы, в энергию кинетическую, энергию движения» (Фредерик Содди).

Обстоятельство второе.

— — это было в городе Москве, возникнув в первый год революции. Профессор истории и истории искусств, Александр Васильевич Чаадаев, в бытность свою в Египте купил там мумию одной из жен фараона, имя которой выветрилось песками истории, не случайно для повести. Прах женщины, три тысячи лет тому назад царствовавшей, — быть может, прекрасной, — представлял собою ныне женский костюм, обтянутый совершенно высохшей кожей темно-коричневого цвета. Прах, забальзамированный мастиками, весил много больше, чем живой человек. Тело было обтянуто испепеленными тканями. Волосы женщины были залакированы и зачесаны на прямой пробор,

с косами на ушах, — но волосы были не черны, как предполагалось бы, но желты, как рожь, как приречный песок, волосы, выветренные тысячелетьями. Глазницы мумии были мертво закрыты. На губах мумии умерла и зажила в смерти непонятная, тревожная и — бывает так — обессиливающая улыбка, пронесенная мумией через тысячелетья.

В сущности, неправильно сказать — тело мумии, ибо тела не было, тела, превратившегося в коричневый ремень, тяжелый, как известняки. Эта женщина была роста выше средне-рослого славянского мужчины, широкоплеча, бестаза. У нее были прекрасные губы, руки и ступни ног, и прекрасны были ногти на руках и ногах.

Через Александрию, Яффу, Афины, Византию — путями древностей — профессор Александр Васильевич Чаадаев привез мумию в Скифию и провез ее в Москву, в вотско-славянскую столицу отъезжего поля Евразии. У профессора были: кафедра в университете, бюджет, квартира, жена, теща, ребенок и нянька у ребенка. Мумия стала в кабинете профессора, за письменным столом, между диваном и книжным шкафом, против профессорского рабочего кресла. Профессор чинил свою жизнь в хорошем здравьи.

Пришла великая русская революция, величествовал первый ее марш восхождения, — в профессорских понятиях — героика героизма, холода и голода. Профессор двинулся в революционные вечности — железной печуркой, картошкой и тем, что он с домочадцами — кабинет, столовую, спальню, детскую — все сдвинул на кухню, в темноту и тепло. Мумия осталась в гнетчерном кабинете. И странными судьбами тогда — в геологии и Гофмане русской революции — мумия: ожила! — Нянька профессорской дочери, подлинная скифка, которая вообще с первых дней возникновения мумии, убедившись окончательно, что мумия не есть мощи, твердую враждебность имела к мертвецу, — так вот нянька — первая — заявила, что мумия

стала: — пахнуть. Затем нянька сказала, — что мумия светится. Потом нянька сказала, что мумия: — гудит.

Профессор возмущался и доказывал.

Но за нянькой теща, а потом жена — утвердили, что поистине — пахнет мумия: и поистине чуть заметный, сладковатый, бередливый появился в кабинете запах разложения. За нянькой теща и жена утвердили, что мумия — светится: и поистине ночами во мраке спущенных штор чуть заметным, прозрачным, фосфорическим светом начинало светиться лицо мумии, — и тогда, в тишине революционных ночей и замерзших домов, было слышно, было едва слышно, как гудит мумия — так же, как гудят морские раковины. Профессор — варварски! — раздел мумию, чтобы обследовать: вновь, спустя три тысячи лет, предстали пред человеческие глаза женские тайны фараонши, — и в тот же миг рассыпались пеплом и прахом ткани одежд мумии. Профессор ничего не нашел, установив гудение мумии в том, что от сырости выпала мастика из ушей мумии и гудит пустая черепная коробка. Но женщины — в последовательности няньки, тещи и жены — потребовали, ультиматировали, что — или они, или мумия. Женщины с мумией жить не желали, категорически.

Профессор: продал обнаженную мумию коллеге, пожелевав за нее золотыми монетами триста пятьдесят рублей; коллега взял мумию и авансом уплатил семь золотых десятирублевиков. И через месяц коллега пришел к профессору объясняться; коллега сказал, что культурная ценность мумии ему ясна, но мумия пахнет разложением, в семье некультурность, и он, коллега, просит профессора взять обратно мумию, пусть даже без возврата семидесяти золотых рублей.

Профессор не отдал мумии музею.

Революция прошла ледниковый московский марш, вышел в эпоху уплотнений, поистине — эпоху жизни рус-

ских городов, породивших уже не достоевщину, но нечто более страшное, что разбирается клинической психопатологией. Мумия в Москве имела длинную историю. Все годы революции обнаженная трехтысячелетняя женщина, бывшая царица, ходила по рукам в Москве, из дома в дом, нигде не оставаясь больше двух недель. Через каждые две недели в комнате, где жила мумия, начинало пахнуть мертвецом, и ночами мумия светилась бередливым фосфорическим светом. Люди знали, что мумия тлеет и светится. Смелчаки брали ее, чтобы жить около тлеющих тысячелетий; тлен сильнее смелости: через две недели, по стандарту, смелчаки обессиливали бороться с тленом. В иных местах в жизнь мумии вмешивались соседи или домкомы, объясняя, что: — или мумии, как мертвецы, суть предрассудок, в действительности являющийся просто мертвецом, место которому на Ваганькове, а ежели предрассудок мумии необходим, то требуется от милиции удостоверение на право проживания и занятия площади, ибо — хоть мумия и мощи, но все же человек; однажды тень мумии возникла в милиционном отделении и погибла там в отделе записей актов гражданского состояния.

Профессор Александр Васильевич Чаадаев никакого отношения к повести не имеет. — Все годы великой русской революции в Москве жили: люди, страдания, радости, победы, отступления, любви и — мумия, трехтысячелетняя, обнаженная, коричневая, как иссохший ремень, бездомная, безордерная, — та, которая тысячелетья пронесла непонятную, прекрасную и лягушечью одновременно обессиливающую улыбку.

Обстоятельство третье.

— это было в дни гражданской войны, на Кубани. Это было с Иваном Петровичем Москвою, зырянником по национальности, героем повести.

Был зной лета и был тиф.

Пятеро они ушли с поля боя: два живых боевых товарища, два мертвеца и он, Москва, третий живой. Трое живых горячествовали тифом. Они ушли от шрапнелей, унося двоих раненых боевых товарищей. В бреду они не заметили или запомнили, что эти два боевых товарища умерли. Они несли мертвецов. Иногда в бреду командир Москва командовал:

— Ротаа, ложись! — ро-ота, плии!

Живые клали мертвецов на землю, совали в их руки винтовки. Живые стреляли в пустую степь.

На бивуаках мертвецы несли караул. Живые в бреду не замечали, не заметили, что в июльском зное за эту неделю мертвецы совершенно изгнили, у одного отвалилась челюсть, у другого вывалились кишки.

Живые кормили мертвецов, насовывая им во рты своими ложками пшеничную кашу.

Отступая, живые принесли мертвецов в разграбленную больницу. В степной больнице не было ни одного человека, все разбежались, и только в доме врача лежала женщина в отчаяннейшем бреду тифа. Ночью в бреду командир Москва пошел к этой тифозной, чтобы взять ее, как женщину. Это было в первый и последний раз в жизни Ивана Москвы, когда отдавалась ему женщина: он не мог сравнить и не знал, что никогда женщины не встречают такую страсть, такими поцелуями и таким отдаьем, возникшими в бреду, как было той бредовою ночью.

Наутро отряд живых и мертвецов пошел дальше. Имени этой женщины Иван не знал и не запомнил, что лицо женщины было лицом египтянки.

Через неделю этих пятерых подобрали. В тот же день мертвецов закопали в землю, а троих живых снесли в больницу, чтобы — путинами больничных коек — эти трое пришли из бреда в явь.

Память этого бреда навсегда осталась у Ивана Москвы.

Обстоятельство четвертое.

— это было в дни гражданской войны, в Крыму. С отрядом кавалеристов Иван Москва шел по крымскому плато от Кокоз к метеорологической станции на Ай-Петри, чтобы перехватить бахчисарайское шоссе. Люди не спали несколько ночей. Всю ночь накрапывал дождь, и только к рассвету перестал. Темнота была такая, что глаза были ненужны. Всю ночь ехали по степи. Красноармейцы молчали, мокли, не понимали — куда провалились горы. Станцию к рассвету бесполезно обстреляли, потом улеглись спать.

Светало.

Москва с вестовым пошел осмóт­реть местность. Прошли через балку в лесок, поднялись на вершину Ай-Петри к тому часу, когда море лежало уже широчайшим простором. Москва никогда раньше не видел моря. Направо и налево шли горы, обвалы, скалы, леса, необыкновеннейшие просторы, чудесный пейзаж. Москва ступил к обрыву, взглянул под отвес — и поспешно отошел от обрыва: закружилась голова, нехорошо потянуло вниз, — все бессонные ночи навалились на веки, сделав голову стопудовой.

И тогда произошло невероятное, обстоятельственнейшее в жизни Ивана Москвы.

Налево в море у самых гор красным полымем вспыхнули облака. Из синей мглы возникли — невидимые доселе — судакские горы. Огромная синяя тень легла над землей и морем. Эта синяя тень дрогнула, пошла, огненное золото догоняло ее, шагая с вершины на вершину. Огненное золото упало с облаков на вершину Ай-Петри: — —

— и тогда в море из воды, над водой появился багрово-холодный, зловещий, всепобеждающий кусок солнца. Этот кусок округлился, выдвинулся, рассыпался миллиардами

дрызгов в море. Через минуту багровый эллипс стал над водой: — —

— и тогда показалось, стало физически ясным, что — в этом мире в этот миг неподвижны только он, Москва, и оно, солнце, — было физически ясно, что солнце неподвижно, а дрогнули, качнулись и пошли справа налево вниз от солнца земля, море, обвалы, горы, леса: горы, обвалы, долины двинулись вниз. В переутомленных мозгах слышен был треск, — надо было раздвинуть ноги, упереться ногами, чтобы не упасть — с земли, которая двинулась: земля под Москвою качалась: неподвижны были Москва да солнце.

Это было не знание, но ощущение.

Но когда солнце поднялось на аршин, все было уже совершенно буднично: из-под стопудовых век Москвы смотрели маленькие, острые, зеленые — скуластые, лесные — глазки: где, как раскинуть сотню, чтобы закупо­рить бахчисарайское шоссе?

Обстоятельство пятое.

— это было в годы распутий русской революции, в годы от тысяча девятьсот двадцать третьего, — на «подкаменных» землях (сиречь на Урале), в пятистах верстах от железной дороги, в Полудовой лощине у безымянной реки.

В гору там вникли штольня и шахта, в стороне под обрывом на камнях растворялось эхо заводского гудка. Около штолен, где проложены были рельсы для вагонеток, свален был желтый камень, извлеченный из недр горы, древний камень Архейской эпохи, освобожденный от медного колчедана, от оловянного камня, — камень, который родит радий и ставит человечество на пороге величайших, небывалых, равных только той, когда человек научился владеть огнем, — величайших революций и эпох. Под камнями обрыва, в стороне от штольни, около безымянной реки, над нею, стояли бараки для рабочих, дымили трубы

над цехами. Каменная тропинка вела к дому директора завода — Ивана Петровича Москвы, — в этом доме были контора, красный уголок, — и в этом доме была: заводская лаборатория.

И вечерами, если аэроплан приносил свежего человека, — этого свежего человека Иван Петрович Москва вел в лабораторию. Электричество показывало стол с колбами и микроскопами, цинковые жбаны, тигели, эмалированную плиту, застекленные белые полки, застекленные шкафы и лотки с образцами минералов: электричество показывало будничную, рабочую лабораторию горного завода, где каждый день по утрам инженер должен делать очередную свою аналитическую работу и где, поэтому, чуть-чуть ест глаза аммиаком, соляной кислотой, сероводородом. Но Иван Москва тушил электричество, и свежий человек возникал тогда в таинственном мире земных недр и того, что не познано человеком. Факт нереальный: — таинственнейше, непонятно, непознано начинали во мраке флюорисцировать, фосфорисцировать камни, виллемиты, бариты, радиевы соли, стены, столы, одни сильнее, синее, другие тусклей, зеленой, иные совсем желтым светом.

Было понятно, что человек предстоит пред таинственнейшим и величественнейшим, к чему человека привело знание: вечно, как ежесекундно, как тысячелетие, — радий, уран, торий, — излучали энергию, творили новые пороги знания, — таинственнейшие пороги человеческого знания, где для энергии (и для человека) нет пределов, кроме пределов человеческого знания, — ту энергию, которая перестраивает теории мироздания и твердо созвучит безусловным рефлексам, внутриатомной энергии человеческого мозга.

Москва молчал, и молчал свежий человек, и молчало Подкаменье, горы и леса, почти не пройденные человеком,

в пятистах верстах от железной дороги; если это была зима, тогда молчали снега, звезды и ночь. — И таинственнейше, таинственнейше, светом звезд, луны и всего ночного, горели, флюорисцировали камни и соли лаборатории.

Иван Москва включал электричество и буднично говорил следующее, почти всегда одно и то же:

— Человек научился собирать в горсть радиевы соли. Если он на самом деле возьмет в руку радиеву соль, бета-лучи пронизуют руку, прознобят, рука зачирвеет, — но человек забрал радий в свой мозг, человек подсмотрел за радием, за его альфа-, бета- и гамма-лучами, вечно излучающимися. Мы будем разлагать торий и уран так же, как солнце бросает нам на землю оторванные куски самого себя, так же, как мозг разлагает мысли. Если мы сожжем плитку каменного угля, равную по величине спичечной коробке, и если мы не сожжем, а разложим энергию, скрытую в этом самом куске угля, — в этом втором случае мы получим энергии в триста шестьдесят тысяч раз больше, чем в сжигании. Обычное сжигание одной тонны угля дает достаточно энергии, чтобы дать движение локомотиву поезда в продолжение одного часа, между тем как распад этого же количества материи дал бы достаточно энергии для освещения, нагревания, перевозки и вообще для надобностей всей промышленности Великобритании в течение ста лет.

Радий! — все человеческое чернокнижное средневековье искало философский камень и строило *perpetuum mobile*, — тот философский камень, который превращал бы вещества, тот *perpetuum mobile*, который давал бы вечную энергию. Таинственный, непознанный радий излучает вечный поток тепла и света, творит, не иссякая, создавая новые вещества из прежних веществ, — тот философский камень, для которого нет преград, лучи которого идут, проникая через все, через камень, железо, мрак, свет,

холод, все деформируя и преображая, — *perpetuum mobile*. Чернокнижное средневековье чернокнижной ятрохимии и алхимии, метафизика, ведьмачество, черная кровь, черная магия, душа чорту, — нашли философский камень, — имя ему: радий, разлагающий собою все, его окружающее. Алхимию строили алхимики: — имя новому алхимику — комиссар Иван Москва. — За масонскими ложами, в тесных кварталах средневековья, в подземельях под готикой сводов, в замках — черноодетые люди строили вечный двигатель: — сейчас философский камень лежал на полках лаборатории, флюорисцировал во мраке.

Над заводом поднималась понурая Полудова гора, лощина уходила в скалы, и кругом шли сотни верст безлюдных медвежьих лесов, перми и коми.

Радий! — обнаженная энергия мира! — там, где родится радий (факт нереальный!), — там, где рождается радий, ничто не живет, ничто не растет, ибо, как человеческая судорога, судорога физики, рождая новые пороги, — смертоносна. В штольнях, где рыли руды, таинственные творились дела, те, которые перетасовывают теории мироздания, — но люди там копались очень буднично. — Полудова же лощина была пуста, мертва, бурые камни без тропинок, без деревца, без моха. Зимой таял в Полудовой лощине снег, не лежал, — голая земная энергия спаливала его. Бил из земли ключ, полз от ключа удумливый пар. И Данту можно было бы взять с Полудовой лощины материалы для третьего круга своей Комедии, — у этих камней, отказавших живому в жизни. — Раньше эти места обходил зверь и человек. Человек Иван Москва пришел сюда рыть радий.

Москва вновь тушил свет. Вновь возгорали минералы. Москва со свежим человеком шел — через красный уголок — к себе. Там, в лаборатории, во мраке бросали, бро-

сали энергию минералы. В красном уголке под большую лампою на столе были разложены журналы и газеты; рабочие читали за столом; на стенах во мрак уходили плакаты и портреты руководителей русской революции; радио хрипело речами и концертами горда Москвы. В комнатах Ивана Москвы были тишина и медленность. За домом молчали снега, горы, сотни зырянских, пермских, остятских верст. Упорные в морозе горели на небе звезды.

Свежего человека Иван Петрович поил чаем, под шум самовара. За чаем свежему человеку говорил Иван Петрович об уране и гелии, о всех тех порогах, сколо которых стоит человечество: — и всегда рассказывал тогда Москва, как на войне, в дни гражданской войны, в Крыму на Ай-Петри он повстречался с солнцем и испугался, крепко расставив ноги, чтобы не упасть, когда качнулась земля. Но если свежий человек засиживался за полночь, когда Иван Москва говорил уже часы, — этот свежий человек начинал видеть, что лицо Ивана Москвы становится асимметричным, подергиваются веко и правый угол губ: и Иван Москва рассказывал тогда о мертвецах, которых он с товарищами пронес бредовым небытием.

В лощине ничто не жило. Мертвая тишина была в лощине. Флюорисцировала в небе луна. В доме горело электричество, хрипел усилитель в красном уголке вступительным словом Луначарского. Иван Москва рассказывал, как кашею кормил он мертвецов, — и Иван Москва тогда говорил, путаясь в каше мертвецов, о том, что вот уже больше четверти столетия человечество собирает радий и — что за это четвертестолетие человечество скопило только: около двухсот тридцати граммов радиевых солей.

Обстоятельство шестое.

— — это было в городе Москве, в октябре 1917 года, в дни переворота. Тверской бульвар у Никитских ворот тогда замыкался трехэтажным жилым домом. В этом доме

были большевики. В доме напротив, которым замыкался Никитский бульвар, были юнкера. Дом Тверского бульвара был разрушен юнкерами и бомбами и был сожжен. С год после переворота, особенно весной в 1918 году, развалины дома смирдили трупами тех, кто был погребен развалинами. Года три этот дом стоял памятником восстания: говорил о дыме революции битой крышей, пустыми проемами окон, обгорелым, расщепленным кирпичом, мусором чугунных балок, подвалов, рухляди. К двадцать первому году развалины были убраны. И в 1922 году на месте развалин, на площадке, обложенной коломенским мрамором, воздвигнут был памятник профессору Климентию Тимирязеву.

Тверской бульвар замкнулся двумя памятниками: Пушкину у Страстной, Тимирязеву у Никитской.

Обстоятельство седьмое, как первое.

«Мне отмщение, и аз воздам» — дикарский закон бумеранга — физический закон действия, равного противодействию — —

БИОГРАФИЧЕСКАЯ ГЛАВА

Биографии людей не всегда начинаются с детства: в иных случаях началом биографий суть — старость, мужество, двадцать лет. Биографии очень многих в России в годы революции начались 25 октября старого стиля 1917 года. Биография Ивана Петровича М. сквы началась 25 октября, когда он вылез в биографию по развалинам истории: началом его биографии были — винтовка, ненависть, ничтожество «подкаменных» земель в биографическом его до-бытии. — И не всегда биографии определяют даты дел и рождений: обстоятельства, лежащие вне человека и его воли, бывают иной раз значимей воли и человека.

До-бытие Ивана возникло: «в зырянах», как называли зырян новгородцы, — сами зыряны называют себя коми-

народом. Точный перевод — «зыряны» — значит — «оттесняемые». Коми-Иван был сыном коми-народа. Даже в России не многие знают о лесах Коми-земли, непроходимых, непройденных, — и о том, что Коми-земля больше Германии и Франции, вместе взятых, но на Коми-земле всего только семь верст железной дороги. Коми-земля упирается в земли Подкаменные: в до-бытии своем коми-Иван был рабочим подкаменных, Петром Первым, Демидовыми-Сандonato и Строгановыми ставленными, чугунолитейных заводов.

К о м и - П о д к а м е н ь е — —

...сказано в Евангелии о том, что Петр есть камень, но Петр же есть и соль земли: Урал — камень. Здесь все завалено камнями и пропитано солью, и на завалинках у новых изб по урочищам и селам кладут здесь соль, чтобы солнце впитало соль в дерево, ибо тогда стоят срубы столетьями: на солях и на камнях нет ни чахотки, ни тифа, ни холеры, и деревья растут в сорок аршин ростом и в два человеческих обхвата. — «Время застит» — уральская поговорка, — и все же видно через века, как просолились эти места Иваном Грозным, заселителем «Перми Великой — Чердыни» (чердынцы называют себя — чердаками), «именитыми людьми» Строгановыми (дома от Строгановых и соборы стоят и в Усольи, и в Соликамске, и в Усть-Сысольске), здесь памятно имя Ермака, покорителя Сибири, подлинное имя которого — Василий Тимофеевич Аленин. Время застит, — но видно, как ушкуйное, сиречь разбойное, происхождение Строгановых от вольной великоногородской вольницы — пересолил, перековал Петр Первый — железными заводами (Турчаниновы в городе Соликамске для Санкт-Петербургского их величеств Екатерины и Елисаветы дворов — растили бананы! — так это было уже после Петра).

Здесь спрашивают человека:

— Кто ты?

Отвечает:

— Крестьянин.

Спрашивают:

— Твое имущество?

Отвечает:

— Два ружья да пять собак!

и из этих двух ружей одно дедово, кремневое, — и из этих пяти собак одна на белку, другая на медведя, третья на рысь. Белок бьют из кремневого дробинкою в глаз: если попал в другое место, шкурка бракована. Налог берут здесь с ружей, — и недавно еще брали — с луков.

Здесь в Верхнюю Лупью четыре месяца в году никак не проедешь, а в иное время и зимой и летом туда ездят на саних: телег там не видели. Здесь, если надо человеку побывать верст за сорок, он говорит: — «ничего, побегу!» — сбегает и к полночи будет дома.

Здесь в лесах — подкаменные земли здесь рудны, магнитны, серебряны, золоты — на реке Доеге здесь по Каменному хребту шел изыскатель, сыскал избу: в избе жил крестьянин, — так, мол, и так, жизнь, — крестьянин свел изыскателя к ручью, копнул лопатой, посыпал с лопаты:

— Смотри, гражданин инженер, — чистое золото. На золоте живу, а хлеба — нету.

Здесь в лесах, на горах, на реках — много находят костей мамонта — и никак нельзя их донести до музея: местная народность пермь считает кости мамонта — «му-нянь» — земляной хлеб — целебным снадобьем, священным, — и деревнями собирается пермь есть мамонтовы кости.

Здесь в лесах, на горах, на реках — в тысячах верст — здесь прокуратура рылась — уже после революции — в советском законодательстве, — чтобы подыскать статью,

коей карать нижеследующее массовое деяние: роют охотники здесь могилы детей, отгрызают (обязательно зубами) руку ребенка и — сушат ее; сушеную руку носят с собою охотники по лесам и носит жулье, ибо эта рука отведет и руку закона, и лапу медведя: о статье запрашивали центр.

Здесь в Большой Кочке, в Юрлинском районе, досих пермяки и коми на Фролов день бьют быков богу, причем режет быков местный православный батюшка: быков варят в котлах против православной церкви, — в этих же котлах варят и кумышку. И в каждой волости в этих местах имеется свой леший, именуемый по имени, отчеству и фамилии: Иван Иванович Иванов.

...Здесь на безыменном притоке реки Доеги легла Полюдова лощина, плохую молвою известная в народе: в этой лощине ничто не росло и никто не жил. Лощина была безжизненна и безмолвна, и птица, и зверь, и человек обходили ее, камни не плодили ни кедр, ни вереска, ни иван-да-марьи. Зимой в лощине таял снег, не было силы у снега засыпать бурые камни. Лесная молва — прокляла это место.

Время застит: пермь и коми засолили, кроме времени и земель, подкаменный быт, ушкуйные памяти. Хаять быт и народ — нельзя: Камень, Кама, лес, зверь сделали людей такими же крепкими и кондовыми, как лес, зверь, камень и Кама, — жухорный, стремный народ.

Соляные — строгановские — заводы Петр Первый застил — заводами железными — — Леса, тишина, прибрежные горы, и в лощине меж гор горит, полыхает красным упорным, непокорным, бередливым светом — домна, — горит завод, дымят трубы, горит домна, бредит заревом на облаках, — во мрак ушли обрывы берега, стерлась щетина елей и сосен во мраке, — домна покоит, бредит красным огнем. — Здесь земли крепки, как пот, — от

дней Петра каждый завод здесь помнит хорошее столетье, — и все заводы построены, как один, Петровым регламентом по примеру солеварных. — Мастером на Майкорском заводе работает Марк Карпович Москва, внучатный брат Ивана. Старостой на Соликамском соляном заводе работает Пантелеймон Романович Москва, дядя Ивана, — нос у Пантелеймона провален сифилисом — —

— заговор на разлученье: «— чорт идет водой, волк идет горой, они вместе не сходяца, думы не думают, плоды не плодят, плодовых речей не говорят, — так бы и раба божья (имя рек) с рабой (или рабом — имя рек) мыслей не мыслили, плодов не плодили, плодовых речей не говорили, а все б как кошка да собака жили» — —

До-бытие Ивана Москвы возникло в зырянском селе, около отца-охотника, зверолова и рыбака, в доежных обычаях и в местах, где неизвестны телеги. До-бытие Ивана Москвы прошло на соликамских соляных заводах. До-бытие Ивана перековывалось Чермозским металлургическим заводом. Иван Москва вышел в бытие винтовкой восстания на московских улицах, у Никитских ворот, большевик, пролетарий. На соликамьи — по кириллице — Иван узнал грамоту. На Чермозе он прочел первую книгу о революции. На подкаменных землях нет ни чихотки, ни тифа, ни холеры, — но есть — сифилис: дед и отец Ивана были больны, дед был безносым, и в двадцать лет Иван узнал, что сифилис им унаследован от отцов. Иван возрос высоким и сильным человеком, широкоплечим, коренастым. Он был никак не красив, широкоскулый, широколобый, узковекий, — в запавших его глазницах сидели маленькие, острые, умные, упорные глаза.

Весь, всячески в прошлом, вошел Иван Москва в бытие. В прошлом, потому что тело его было изгажено сифилисом отцов, то тело, где жил его мозг. В прошлом, потому

что он знал только кириллицу прошлого, засвидетельствовав и запечатлев, замавав свой *tabula rasa* заговорами на разлученье, му-няню, кочами, юрлами, доегами. Но — должно быть — внутриатомная энергия вырабатывается не только радиевыми рудами, но и человеческой волей, — ибо изъеденное сифилисом тело Ивана Москвы оставило ему ясный ум, ясный мозг, тот мозг, который дал ему силы выйти из до-бытия в бытие, дал сил из до-бытия — через бытие — заглянуть в пред-бытие, — тот мозг, который дал ему умение взглянуть на свое тело, большое, испорченное, нескладное, — взглянуть, как на ларь, скверный ларь, ларь, как тюрьма, спрятавший его мозг: он нашел в себе силы знать, что тело его — только тюрьма его мозга. Если бы не было социальных розней, он вправе был бы на свои плечи взять имя и быть Строгановых, именитых.

Весь в прошлом, винтовкою Иван Москва у Никитских ворот в Москве вышел в бытие — и на развалинах истории он стал строить свое, своего мозга и своего класса будущее, тело оставив в до-бытии. Он пошел по фронтам революции, последний свой штык воткнув в польский фронт.

Тогда он пришел в Москву, чтобы строить.

Это был двадцать второй год, год распутий. Иван понял тогда, что революция не в том — что, а в том — как. Механику винтовки Иван сменил на машину завода. И заговор на разлученье — «чорт идет водой, волк идет горой» — он сменял заговором на сговор, на тот сговор, которыми должны жить его мозг и СССР.

Это он пошел по подкаменным верстам, походом, с отрядом старателей, — нашел Полюдову лощину, закланную лесом и лесными тропами, — отнес ее камни в Академию: — это он построил завод, вырабатывающий радий. — Строить заводы в те годы — трудное было дело, — но строить — всегда прекрасно, строить, делать. обдумывать

строимое, собирать тесины, камень, железо, — создавать — вопреки соликамским соляным заводам, ставшим от Грозного, вопреки Чермозским заводам, Майкорским, Лысьвенским, ставшим от Петра — во имя революции и человечества, такое, что смотрит только в будущее, что волит только в будущее. — Не в том — что, а в том — к а к: нет отступления энергии, но есть ее трансформация видеть тропинку к шахте, выбитую динамитом и твоими — человеческими — руками — большая радость!

ГЛАВА ЗАВОДСКАЯ

Коми-слова:

— усны — возвращаться с охоты, абы — нет, еванзы — не кричи, баржиалы — шататься без дела, бара — сызнова, ваныр — речная быстрина, вад — озерко, важмыны — обветшать, вабмыны — ослабнуть, выгты — молчи, велавны — привыкать, вердны — кормить, дыр — долго, ланьтыны — смолкнуть, кынмыны — мерзнуть, мавны — смазать, му — земля, мыргыны — трудиться друг для друга, мыж — опора, уклад — сталь, чер — топор — —

— — в сумерки пришел на завод зырянин Следопыт, потолкался у кухни на казармах, — в закате направился к директору. Зырянин был с собакой, с кремневым самопалом, было ему лет сорок, нос у него был провален. Иван принял его у себя в кабинете. Они заговорили позырянски. Коми-слова — усны, абы, еванзы — были тем лексиконом, которым говорили эти два зырянина, меняясь приветствиями. Широкоплечий Иван, в суконной косоворотке, подпоясанный широким поясом, сидел за письменным столом, локти положив на стол.

Следопыт пришел посмотреть на Ивана.

— Ты роешь из земли камень, — сказал Следопыт, — такой камень, от которого умирает человек, на котором не

растет ни сосна, ни кедр, ни вереск. Наши деды знают эту лощину, вот ту, где твоя шахта, люди всегда обходили ее. Зачем ты роешь этот камень? — Ты не знаешь, твой отец был братом моему отцу, ты скажи мне чистую правду. О тебе говорят в лесах, что ты делаешь злые чудеса, к тебе прилетает змий и ты колдун. Я пришел посмотреть на тебя.

— Аэроплан должен сейчас прилететь, — сказал Иван. — Завтра, если ты хочешь, тебя понесут в воздух.

Зырянин сидел на краешке кресла, подобрал ноги, с шапкою между колен.

Из-за шивороты его рубашки на красную шею выползла вошь.

— А водка у тебя есть? — спросил Следопыт.

— Нет, — ответил Иван. — Будем пить чай. Ты расскажи про леса.

Глаза Следопыта прыгнули мышами, он поправил в колених шапку.

— Не пьешь?

— Не могу.

— Вот и мне говорили в лесах, — такое богатство, а не пьешь.

— Не пью.

— — в этот вечер летчик Обоынь-младший уходил в небо, чтобы над подкаменьем снести самолет к заводу, ибо с миром завод общался, кроме парохода летом и авиосаней зимою, аэропланом.

Борт-механик Снеж молчаливо наливал через замшевую воронку бензин, просматривал мотор. Обоынь курил. Снеж подсел, чтобы тоже покурить. Покурили и пошли к самолету. Обоынь сел в кабину. Борт-механик разворачивал пропеллер («контакт!» — «есть контакт!»). Мотор зарокотал. Самолет на земле — черная провалина носа мотора с выемками глазниц-кабин пилота и борт-механика —

походил на человеческий череп, символ тлена мудрости. Снеж сел рядом с пилотом, пристегнулся ремнем, подтянул ремень шлема.

Самолет — это та прекрасная машина, которая несет человека в воздух, которою человек — себя и свою волю бросил за облака. Самолет — этот тот человеческий гений, та человеческая воля, которые не допускают неточностей: недовинчена, перевинчена самая пустяковая гайка, — он упадет с неба, — от человека, понесшего его в небо, не останется даже костей; — но каждая гайка, таящая смерть, свинчена человеческим мозгом: и голова того, кто понес машину в воздух, должна быть ясна, как гений гаек мотора и хвостового — на самолете — оперения, — ибо иначе — смерть. Так указывает машина, так машина утверждает быт, ибо — инстинктом сохранения жизни — указано человеку бояться смерти...

И перед тем, как двинуть машину, Обопынь бодро сматерщинил, мигнув Снежу. Машина пошла в воздух.

Полет! — если человек убежден: что «рожденный ползать — летать не может», — пусть тогда он не идет в воздух, не завязывает ремень, не затягивает шлема: его мозг будет видеть разбитые крылья самолета, разможенные тела, смерть, — и, быть может, рожденному в убеждении ползать лучше и не заползать в самолет. — Там в воздухе известно, что самолет идет сто семьдесят километров в час, только известно, ибо быстроты полета чувствовать нельзя, и видно лишь, как там внизу ежесекундно отбрасываются назад клинья полей, озера, леса, — земная рубаха, земная карта. И тоже только известно, что самолет в двух километрах над землей: высоту нельзя чувствовать. Там в воздухе, окруженный стихиями, каждый устанавливает, что он летал многожды уже, главным образом в отрочестве и юности, от двенадцати до семнадцати лет, во снах: так вот полеты те, во снах, — куда величественнее, значимей, страш-

нее — полетов подлинных! — там, во сне и в детстве, нет препятствий полететь на лунные болота на луну, в неподлинность, в фантастику, — здесь на самолете в небе подлинность измерена тремя километрами высоты: — выдумывать, проектировать, романтизировать — много интересней, чем отыскивать явь. — Но на самолете земные часы — минутами: и в эти часы человек в небе узнает, что человек человеку — обязательно брат, что машина человеку — хозяин, что весь мир есть — огромная, великая мудрость, мудрость и закономерность, — ибо — очень просто — пилот неправильно принял воздушную яму — смерть, борт-механик перебил мотор — смерть, лопнула гайка в моторе — смерть!

Самолет пошел в воздух, поползла земля, сошли со своих мест, переселившиеся на карту, — река, нищая пароходная конторка, холм и реки, лес, поле, — люди на конторке стали мухами, все ушло назад, в реве пропеллера, утверждающего молчание. Земля отсюда из высот — земля внизу кажется одетой в очень старую, очень заплатавшую, многожды перешитую рубаху пажитей (пажити потом исчезнут в лесах), лесов, гор, оврагов, лощин, рек: вон та географическая карта, что лежит внизу, и есть рубаха России — то ржаная, то гречневая, опушенная овчиною лесов, расшитая серебром рек и позументами сел, — нищая рубаха, и все же бархатная, — ах, как византийски разукрашенная: об этой рубахе надо думать часами полета.

Но за братством и рубахою России, за явью снов — —
— ...«Есть упоение в бою,
И бездны мрачной на краю,
И в разъяренном океане» — —

— — «Все, все, что гибелью грозит,
Для сердца смертного таит
Неизъяснимы наслажденья» — —

— — «есть упоение в бою» — есть упоение в полете: — каждый,

кто ходил в воздух — через явь сновидений, через волю — должен знать упоение полета: когда с большой высоты самолет идет быстро вниз, звенит в ушах, густеет и бухнет в жилах кровь, — стало быть, чем выше в воздух, чем дальше от земли, тем спокойнее — неизъяснимее сердце и кровь! — И есть, и есть подлинное, физическое, упоительное наслаждение полета, стремленья — здесь, в высоте! — И есть, и есть, ибо «аз воздам», странная, страшная болезнь пилотов — когда пилот вылетался: тогда появляется боязнь воздуха, боязнь полета, исчезает вера в себя, уверенность, воля, пилот теряет сердце и глаз, он неверно ведет самолет: если он останется у машины, если болезнь не заметил он и не увидели его товарищи, — он гибнет, он разбивается, он «гробит» машину. —

Сейчас вел машину Обопынь-младший: — Обопынь-старший, отец, остался в городе Москве по делам, пустив в полет сына.

Птичьим глазом консерв Обопынь-младший вглядывался в землю впереди, облака сначала шли рядом, розовели в закате, исчезли, — и вновь возникли внизу, под самолетом. Давно уже остались позади латы пажитей, синим океаном стали внизу леса, синими глыбами стал впереди хребет, и из-за хребта и с севера приходила свинцовая синь сумерок. Рев пропеллера — всегда величествен. Белым осколком стал на востоке месяц. Полюдова лощина возникла впереди из сини пространства.

Пилоты, снизившись на плато за Полюдовой лощиной, покурив в стороне от самолета, медлительно, долго, в той привычности, которая всегда координируется машиной, убирали машину, просматривали, проверяли, заводили в ангар, затыгивали брезентом. Пилоты на земле всегда медлительны и угловаты, — и к шахте спускались они уже темными сумерками — —

— — в тот час, когда над Полюдовой лощиной заревел пропеллер и в небе возникла точка самолета, у Ивана Москвы сидел Следопыт.

Следопыт подошел к окну, Следопыт глянул в небо.

— Вон, видишь в небе, — сказал Иван. — Это самолет. Завтра он поднимет тебя в воздух.

Глаза Следопыта забегали мышами, спрятались в его бороде, растущей из глаз. Следопыт зажал шапку меж ног и сел на корточки. И на корточках, пригибаясь к земле, Следопыт пополз в угол. Следопыт закрестился.

Следопыт крикнул:

— Отпусти!

— Что ты, дурак, обалдел?! — ответил Иван и пошел к Следопыту. — Встань!

Следопыт вжался в угол, сторонясь Ивана. Он грозно крикнул, обнажив клыки:

— Чур меня, чур!

Лесной житель был страшен в своем страхе и в шаманстве.

Пропеллер стихнул за горой. И Иван, и Следопыт молчали. Иван предложил Следопыту папиросу, сказал: «сидись!» — Следопыт закурил, сел.

— Это кто летал? — спросил Следопыт.

— Человек, — ответил Иван.

Следопыт молчал, не веря. Таежный вечер нагружал комнату мраком.

— Пойдем пить чай, — сказал Иван.

И еще раз зачурался Следопыт. В столовой шумел самовар, было темно. Иван включил электричество. — И вновь тогда забегали глаза Следопыта мышами, вновь запятылся Следопыт в страхе. — Иван понял: Иван выключил ток, лампа погасла, — Иван зажжет вновь. — Следопыт смотрел и растерянно и хитро. Он подошел к выключателю, протянул руку и отнял ее.

Иван сказал:

— Верти.

— Ничего? — спросил Следопыт, — выключил ток и вновь зажег лампочку.

— Горит! — сказал Следопыт. — Колдуешь?

— Нет.

— А какая сила? — без фатагену? — Следопыт пощурился на лампу, осмотрел внимательно, подставил ладонь к свету, понюхал воздух: — И не греет, и не воняет. Светит!..

(... весь тот вечер Следопыт впадал в чудеса. Весь вечер то-и-дело он включал и выключал электричество, присматривался, примеривался, ухмылялся, — а в те минуты, когда на него не смотрели, он хитро крестился и шептал, шаманил. — Третий раз впадал в чудо Следопыт, когда в красном уголке заговорил громкоговоритель Москвою: — «слушайте! слушайте! слушайте!» — опять пятился Следопыт и приседал в ужасе на корточках, — опять, как штепсель электричества, обнюхивал громкоговоритель, крестясь, хитря, шаманя, радуясь чудесному и в страхе от него, — и опять быстро освоился, в чудесном удивлении переводя регулятор с концерта в Большом театре на вступительное слово Луначарского к съезду ученых, со вступительного слова на радиогазету: тогда лицо Следопыта становилось блаженным в хитрости. Он выключал электричество, вновь включал его и шел передвигать регулятор на музыку Бетховена. — Вечером, когда пришли летуны, Снеж дал Следопыту стакан и еще стакан водки. Следопыт сидел на полу, ибо не мог держаться на стуле, — ноги разложил широким циркулем, блаженно мотал головою в шапке, цел зырянские свои песни и, в твердом убеждении, что вокруг него сидят отчаяннейшие колдуны и жулики, просил взять его в их компанию. — Затем Следопыт уснул. Его положили в конторе на диване, с ди-

вана он свалился. Дверь из конторы вела в кабинет Ивана. И ночью Иван видел, как в смятении, в ужасе, в ничтожестве Следопыт прятался в угол за диваном, челюсть Следопыта билась о его колена, — он мелко-мелко крестился и не мог уже шаманишь, ибо челюсти и язык ему не подчинялись. Иван подошел к нему. Следопыт смотрел неподвижными зрачками. Иван грузно сел рядом, сказал: — «перестань, брось» — и грузно замолчал. — «Пойдем, я тебе покажу» —)

— — в тот час, когда летуны сели на землю, а Иван со Следопытом пили чай, к Ивану пришла Александра, врач, — прекрасная женщина дней бабьего лета, дней серебристых паутинок у глаз и в волосах. Она была в белом платье, высокая и прямая. Третий пустой стакан стоял для нее, — она налила себе чаю. Следопыт ходил в включать и включать электричество. Иван расспрашивал Следопыта о лесах, она молчала. Затем Иван отвел Следопыта в красный уголок и вернулся один. Был час отдыха, на горе у летунов, где стал самолет, была свежая почта: она и Иван пошли навстречу пилотам.

Об этой женщине зналось немного. Она, также зырянка, прошла длинную дорогу — длинными и достойными путями книг, раздумий, труда, голода, фельдшерских курсов, коммунистической революции, гражданской войны, медицинского университетского факультета. Тридцать четыре женских года — большие сроки, когда возникает первая седина, когда пройденные дороги отбыли и путь впереди — ясен. Все проходит и ничто не проходит в этой жизни: из-за громов революции, из многопутья Москвы, ее пути привели ее, коммунистку и врача, на радиевый завод. В стороне от шахт и цехов стала ее амбулатория, белый дом у отвеса скалы.

Синие сумерки, рожденные лесами и горами, застлали землю, как следует. Во мраке камни тропинки были

мучительны ногам, эти лысые камни, на которых ничто не растет. Чем выше уходили они в гору, тем просторнее было кругом, дальше уходили внизу леса и долины. Одинокий стоял в небе месяц, медленный и усталый. Камни под месяцем посеребрили.

Они шли молча, она впереди, он сзади.

И высоко на горе, на обрыве, мраком уходящем вниз, над огоньками завода внизу, в лунном свете, она остановилась, чтобы сказать. Лунный свет падал пластами, лунные тени падали от гор. Лунный свет осветил ее лицо, печальное и твердое. Было кругом мертво и тихо. Иван остановился, опустив голову.

— Что ты мне скажешь, Иван? — сказала она тихо, твердо. — Ты знаешь, Иван, о чем ты должен сказать.

Иван молчал, спрятав лицо в лунную тень.

— Нам надо сказать последние слова, — сказала она. — Иван, ты все знаешь, и я все знаю. Так случилось, что все мои дороги были дорогою к тебе. Ты заставляешь меня говорить! — вот, я приехала сюда, оказывается, для того, чтобы никогда больше не уходить от тебя. Говори, Иван.

Иван молчал. Иван ступил шаг вперед к обрыву.

— Говори, Иван.

— Я не могу, Александра. — Люблю ли? — ты приходишь, ты проходишь, — и густеет воздух так, что запыливается сердце, — и редеет воздух так, что нельзя дышать. Я старик, а я следы твои целую, как в романах.

Александра протянула вперед руки, руками ловила слова, руками слова охраняла.

— Говори, Иван.

— Уезжай, Александра.

Иван ступил назад от обрыва. Александра опустила руки, просыпая слова.

— Уезжай, Александра! — уезжай сейчас же, завтра же, навсегда выкинь меня, забудь, строй свою жизнь без

меня. Я не могу, Александра. Ты не знаешь, — вот этот мешок, который называется моим телом, — сколько я дал бы, чтобы выпрыгнуть из него, из этой гнилой могилы, куда заперт мой ум. Дед и отец извели мои кости и отравили мое мясо. Что ты хочешь? — эти руки, ноги и грудь — мертвы, заживо мертвы, их надо на свалку, от них надо сторониться. У меня ясный мозг, достаточно ясный для того, чтобы понять, что я уже в гробу моего тела, что я не имею права иметь свое будущее. Я ничего не могу. Ты не знаешь, никто не замечал — —

Александра подняла свои руки, чтобы защитить ими себя от слов, — но лицо ее в лунной мути, лицо египтянки, было покойно, плотно были сжаты губы в бередливой улыбке.

— Ты не знаешь, никто не заметил, — мой мозг еще видит, — я потерял здравый смысл, ногами в бессонницы я теряю черту между явью и бредом. В бреду, как в яви, я тащу мертвецов, тех, которых тащил на фронте, и тогда качается земля. У меня остался только мозг, но и он туманится. Я говорю с человеком, и вдруг человек проваливается, и вместо человека передо мною сидит какое-то страшное, кровавое государство — —

Иван замолчал, приложив руку к голове. Он крепко расставил ноги, осмотрелся кругом.

Александра сказала:

— Говори, Иван.

— Да, да, я говорю, — заговорил Иван. — Приехала ты, сейчас лето. Ночью я просыпаюсь, и я путаюсь в своей комнате, ибо я забываю теперешнюю мою комнату и помню ту каморку, которая была у меня на Чермозе. Я протягиваю руку к стене, к часам, и мне страшно, почему нет стены, почему моя рука виснет в воздухе. Я иду, натыкаясь на вещи, потому что тогда в той комнате вещи стояли иначе. — И все же за окном, вместо этих гор, стоит Чер-

мозговой завод, улица, плотина: я смотрю за окно, вижу завод и вижу вдруг, как на улицах завода появляются вдруг очертания Кубанской степи, — все двойится, я не понимаю, где я, и я готов выть собакой. И тогда — здоровым мозгом — я начинаю понимать, что мой мозг туманится.

Иван замолчал. Молчала Александра.

— Ты должна уехать, Александра, забыть про меня. Я отказался от всего. Я вот строю завод и добываю радий, чтобы хоть мозгом вырваться из себя, из прошлого, отовсюду — в будущее, которое я проектирую. — Я не могу тебя осквернить собою.

— Нет, Иван, я никуда не уеду. Ты говоришь, что я шла к развалинам. Пусть так. Слушай, Иван, — на Кубани — —

Но она не закончила. Наверху на тропинке послышались веселые голоса, весело сбегали вниз Снеж и Обопынь, Снеж с сумкою писем. — Когда подходили летуны, Иван сказал Александре, негромко: « — следующим аэропланом я полечу в Москву, пойду к врачам, пусть скажут врачи». — Летуны весело приветствовали, сообщили очередные будни новостей, торошили ужинать.

За ужином веселый Снеж поил Следопыта водкой, соглашался взять его в колдуны и порешил наутро снести его в воздух.

Уходя к себе в амбулаторию, Александра вызвала Ивана на крыльцо. Всею женскою нежностью она протянула к нему руки, сказала:

— Иван, пойдем ко мне. Я никуда не уйду от тебя. Я не сказала тебе того, что я хотела сказать. Однажды на Кубани...

На крыльце горела электрическая лампочка. Иван посмотрел на Александру маленькими своими, острыми глазами, взгляд был зелен и холоден. Иван сказал нарочито грубо:

— Потом поговорим. Успеется.

Александра не двинулась.

Иван сказал тихо:

— Вот, ты видела Следопыта. Он мой дядя. У него провален нос. Я могу поцеловать его, но я не смею коснуться тебя...—Иван смолк и сказал вновь грубо: — Ступай, иди!

Ночь была черна, месяц посинел. Александра ушла во мрак. Иван вернулся в дом, прошел в кабинет разбирать почту.

— — ночью Следопыт видел четвертое чудо — чудо лаборатории. Ночью Иван пришел к Следопыту. В смятении, в ужасе, в ничтожестве Следопыт прятался за диван, челюсть Следопыта билась о его колена, — он мелко-мелко крестился и не мог уже шаманить, ибо челюсти и язык ему не подчинялись. Иван подошел к Следопыту. Следопыт смотрел неподвижными зрачками. Иван грузно сел рядом, сказал:

— Перестань, брось! — и, грузно, помолчав, добавил: — пойдем, я тебе покажу.

Следопыт не двинулся, еще крепче вжавшись в угол, — глаза его, не мигая, следили за Иваном, точно Следопыт, как рысь, готовился прыгнуть на Ивана.

Следопыт злобно прошептал:

— Не трогай!

Так же неморгающе стал смотреть Иван на Следопыта, сказал стопудовой гирей: «— вставай, идем!» — и Следопыт встал.

Не улыбаясь, Иван похлопал, погладил Следопыта по плечу.

— Старик ты, а глухой.

Они пошли темными комнатами: Следопыт шел покорно.

В лаборатории Иван не поражал Следопыта мраком и светом: включив электричество, Иван взял из ящика, изпод замка стеклянную пробирку.

— Видишь? — сказал Иван, — поддержи, закрой глаза, поднеси к голове.

В руках Следопыта была обыкновеннейшая стекляшка, чуть побуревшая. Следопыт осмотрел ее, пощупал, — прикрыл глаза и поднес стекляшку к лицу: и сейчас же отпрянул от стекляшки, широко раскрыв глаза, в недоумении, в удивлении.

Иван взял из рук Следопыта пробирку. Иван опустил голову, закрыл глаза, поднес пробирку к виску: — —

— — и в глазах его, в голове возник нестерпимый ярчайший зеленый свет: это радий выбрасывал свою энергию, лучи которой пронизывали мозг.

В лаборатории горело электричество, пробирка была совершенно обыкновенная. Иван смотрел на нее удивленно, подносил ее к голове, — и нестерпимый свет возникал в закрытых глазах, пронизывал мозг.

— Этот свет, как твоя любовь, Александра! — сказал Иван.

Иван бессильно сел на табурет.

Иван заговорил.

Ивану казалось, что он говорит следующее: —

— ...ты слышишь, Александра? — это все понятно, — это лучи распада атомной энергии. Все понятно, да, все объяснимо, — но какой прекрасный свет! Это твоя любовь, Александра... Слушай, я говорю тебе. Человеческая жизнь следует совсем иным и гораздо более сложным законам, — средняя человеческая жизнь. Жизнеспособность в любом возрасте представляет практическую задачу для вычисления. Жизнеспособность при рождении меньше, чем в мужестве, когда она достигает максимума, — затем, с возрастом, жизнеспособность постепенно уменьшается. Жизнеспособность атома, даже радия, не зависит от его возраста, — это простейший закон для атома, но не для меня! — Каким образом распадается элемент? —

этого человечество не знает. Есть предположение, что непосредственная причина распада атома — дело случая! — слышишь? — дело случая!.. — Вот, видишь, если бы судьба выбрала из всех живущих на земле людей определенный процент, которые умирали бы в каждую минуту независимо от возраста, молодого или старого, если ей просто нужно было бы число жертв, которые она набирала бы случайно, лишь бы получить нужное количество, то тогда наша жизнеспособность была бы такой же, как у атома радия. Атом радия — отдаст энергию и — не умрет. Я отдам энергию и — умру. Я хочу жить, я должен жить! — слышишь, Александра! — Все человеческое будущее я вижу через наш собачий быт, — и я хочу любить, Александра... Я вижу всю закономерность того, что должно выпасть из закономерностей, — что разрушает канон сохранения энергии революцией распада атома — —

— — Ивану казалось, что он говорит именно так.

В действительности он говорил иначе, в бреду:

— ...Александра, Сашенька, Саша, Сашуха... понятно — лучи — распад — атомы — жизнеспособность... Александра, Саша, — жизнеспособность — случай! — слышишь, — случай, случай. Не хочу помирать, не хочу, не могу, слышишь?! — не хочу... — и так много раз, с повторением.

Следопыт слушал Ивана сначала внимательно, потом безразлично. Тогда Следопыт взял из рук Ивана пробирку, поиграл ей, привыкнув. Сунул ее обратно в руку Ивана. Пошел к выключателю, чтобы поиграть им. И тогда Следопыт увидел пятое чудо. Он выключил ток: и во мраке ожили, засветили, зафлюорисцировали земные недра и земные тайны. В этот миг загудел заводский гудок. Колба в руках Ивана светилась.

Иван включил ток. Следопыт сидел на четвереньках. Иван сокрушенно помотал головою: он знал, что те альфа-, бета- и гамма-лучи распада радия, которые пронизали

его руку, завнобят руку, рука зачирвует, покроется красной коростой ожога.

— Как ты попал сюда, старик?! — удивленно спросил Иван Следопыта.

— Сам привел, — ответил Следопыт.

— Ты все путаешь, старик —

— — на заре веселый Снеж вел Следопыта на гору к ангару, чтобы снести Следопыта в небо. Обопынь ушел вперед. Снеж, строго остря, непреклонно подталкивал Следопыта в гору.

Следопыт шел так, как люди ходят, должно быть, только на расстрел — —

— — все утро, весь день Иван провел на заводе.

На заводе там, где в чанах соляной кислотой разлагается на элементы — на уран, свинец, кальций, железо — разлагается руда — разлагаются U_3O_8 , PbS , SiO_2 , CaO , FeO , MgO , — там нечем дышать, и рабочие работают в противогазах сменюю через каждые четверть часа — в удушьи соляных, азотных и серных кислот. На заводе там из тонн руды добываются миллиграммы радиевых солей: и эти тонны, прежде чем освободить радий, многожды во многих чанах — окисляются, ощелачиваются, насыщаются водным раствором, выпариваются, окристаллизовываются и вновь окисляются. Тогда, когда откинута все посторонние элементы, когда получен радионосный сульфат, — этот сульфат переводят путем карбонатов в хлориды, путем спекания сульфатов с углем в сернистые соединения: радий тогда остается вместе с барием, — в тех пекарнях, где спекается сульфат с углем — неимоверно жарко. — Рабочие работают в противогазах, сменяясь каждые четверть часа, чтобы отдышаться. — Поистине, если бы Следопыт попал в химические цеха, он должен был бы решить, что самое главное страшилище и колдовство — именно эти цеха, где люди работают в страшили-

щах масок, — где нечем дышать, — где незащищенный глаз слезится и слепнет, — где непонятный ряд трубищ, труб, трубочек, печищ, печей, печурок, замысловатых приборов и аппаратов, — где шипит, булькает, чавкает, харкает, хрюкает, свистит, стонет, — где в чанах ползают земные недра и рождаются кристаллы, первородные элементы вселенной, — где люди молчаливы, действены, точны.

Право на жизнь этим цехам дали земные недра, куда человек врезался шахтами, во мрак, неизвестность и удушье земли.

Иван все утро был на заводе, следил, указывал, руководствовался.

Перед обедом он спускался в шахту, где во мраке и удушьи люди дробят земные недра.

— — и здесь надо говорить о пустяках, — быт всегда чудесен несуразностями.

В шахте сделана была конюшня, где жили ослепшие лошади, таскающие вагонетки. Неожиданнейше в шахте — в конюшне — к запаху земных недр примешивались запахи конского пота, навоза, сена. Отдыхающие у конюшья лошади мирно жевали. На полу в конюшне валялась солома. На нарах под электрической лампочкой, на соломе, с книжкой, валялся конюх, как конюх, паренек лет двадцати, добродушнейшерожий. Ни в какой мере ему не было дела до того, что он лежит в местах земных чудес, в коих разлагается земная энергия, откуда человечество берет новое знание. В шахте, и в конюшне в частности, было очень жарко. Паренек лежал в совершенном блаженстве, ногу задрал на ногу, руку закинув за шею, медленно мусоля страницы «Матери» Горького.

Иван обошел шахту, где люди добывали руду, — и Иван пришел на конюшню, к конюху.

Лошади жевали. Конюх не двинулся, сказал добродушно:

— Здравствуй, товарищ директор. Говорят, дядя к тебе пришел?

— Здравствуй, Яшка, — ответил Иван и присел к парню на нары. — Ну, как?

Яшка ответил охотно:

— Ты про Аленку? — Вчера выходила на свидание.

— Ну, а как рабфак? — спросил Иван.

— Через три недели потащуся, — ответил Яшка.

Яшка подробнее, чуть привирая, рассказал о любовном своем свидании. — Иван слушал его внимательнейше — —

— — заговор на разлученье: — «чорт идет водой, волк идет горой, они вместе не сходяца, думы не думают, плоды не плодят, плодовых речей не говорят, — так бы и раба божья (имя рек) с рабой (имя рек) мысли не мыслили, плодов не плодили, плодовых речей не говорили, а все б, как кошка да собака, жили» — —

— — в тот день, когда Иван взял самолет, чтобы уйти на Усольскую железную дорогу, — вечером, как и каждый день, рабочие в свободную смену собрались в красном уголке — одни, — другие сидели в казармах, третьи пошли к обрыву. На обрыве тогда молодежь пела песни, циликала во мраке гармоника, хохотали девки-тачечницы, которых точнее назвать — не девками, не женщинами, а — девкицами, ибо были они в пыли и в запахах дневной работы, похожими на каменных израскопок баб. В красном уголке громкоговоритель мешал (или не мешал?) читать газеты, брошюрки, журналы. В казармах иные играли в козла.

Вечер проходил, как подобает проходить глухому заводскому вечеру.

Быть может, Яшка увел Аленку далеко в горы или вниз к реке, и хоть он и похвалялся перед Иваном всякими своими храбростями, в действительности здесь

он сидел около Аленки в молчании и скромности, в том прекрасном бессилии, которое приносит настоящая любовь, — часами, быть может, в молчании, в счастье, держал каменную Аленкину руку, и если и заговаривал, то говорил вовсе не озорные слова, а рассказывал о том, что вычитал в «Матери», и о том, как через три недели он поедет учиться — учиться!.. — И в небо тогда поднимался серебряный месяц. А в шахте слепые лошади, ослепшие в вечном мраке, в час отдыха, мирно жевали овес.

В казармах, отрываясь от козла, люди говорили о делах, буднях, отцах, детях, урочищах, — одна «рука» спорила с другою об очередях и о том, какая рука спорей работает.

Кругом полегли горы, леса, болота, реки, — такие леса, в которых, в дни, когда Иван Москва шел походом на изыскания, целые села спрашивали его, — какая теперь власть в России, кончилась ли война и кто царствует на царском престоле? — такие горы, в которых золото дешевле хлеба, но дороже хлеба — му-нянь. — Здесь же, в мертвой лощине, в гору от реки ползла подъемная дорога, внизу на берегу стояли баряи и пароходышко. Нагружали баржу бочками медного колчедана. Штабелями были сложены дрова и уголь. Завод на голлом камне прилепился ласточкиным гнездом. Скрипели, скрипели, двигались сверху вниз и снизу вверх вагончики элеватора — —

Коми-слова:

— усны — возвращаться с охоты, абы — нет, дыр — долго, выбмыны — ослабнуть — —

МОСКОВСКАЯ ГЛАВА

Воровские слова:

— револьвер — шпайка, часы — бака, галоши — пароходы, карты — святцы, рубашка — бабочка, деньги —

сармак, брюки — шкеры, ночлег — могила, паспорт — очки, разиня — антон, сапоги — кони, карманщик — ширмач, глядеть — стремить, крест — чертогон —

— — Иван подъезжал к Москве со смутными чувствами, в воспоминаниях того десятилетия, которое в памяти его сейчас сдвинулось в гармошку: октябрь 1917 был вчера и геологическую эпоху тому назад, — завод был оставлен вчера, но вчера же он собирался идти на изыскания с мандатами ВСНХ и Академии наук.

Иван всегда с неприязнью думал о Москве, ибо каждый в Москве трижды переспрашивал его фамилию, недоумевал и удивлялся так, точно Иван не по праву от отцов получил имя Москвы, но украл его: но Москву он любил, как мать, Москву, давшую ему право на биографию.

Иван ехал с Обошнем-младшим: Обошнь возвращался в Москву, чтобы вернуть место пилота на самолете отцу, которого заменял. Обошнь в вагоне-ресторане выпивал две рюмки водки, плотно ел, посвистывал, шутил, спал и читал газеты. Иван с Вятки замолчал в невеселом настроении, — с карандашом в руках расписывал свое московское время: ЦК, ВСНХ, НТУ, врач-невропатолог — днем, — друзья, театры, книжные лавки — вечером.

Поезд приходил в Москву к вечеру, Иван стоял у окна, следил за полями. После Александра Иван сложился. Во мраке вечера вдали впереди возникли огни Москвы, синие и зеленоватые, — фосфорисцирующие, как определил Иван.

В Москве на вокзале, в белесом свете газовых фонарей, Иван условился с Обошнем, что он, Иван, поедет сначала в гостиницу, в «Париж» у Охотного ряда, где останавливаются хозяйственники из провинции, —

устроится и затем приедет к Обошням, к Обошню-старшему, старому, еще с фронтов, другу.

Обошнь заковылял к выходу тою походкою, которой ходят по земле пилоты.

День был воскресный.

— — в тот день в Москве, как в каждые дни, в миллионном городе Третьего Интернационала, в столице первого на Земном Шаре социалистического государства — за фасадами столицы — за волей видеть и не видеть — за вывесками, гудами, гудками и звонами заводов, паровозов, автобусов — за бодростью дней воли, дел, деяний, свершений — —

— — на задворках миллионного города крутые сутки, каждую ночь — в тот день — привезли, привозили — в институт Склифасовского, в Яузскую больницу, в Екатерининскую, в Александровскую — привозили — раненых пулей револьвера, не успевших умереть в виселице, не умерших от яда, — отравленных, зарезанных, подстреленных, избитых, задушенных. В институт Склифасовского свозили задворки миллионного города, потерявших смысл жизни, право на жизнь, честь и жизненный инстинкт, уходящих в смерть в сумасшествии и от голода, от одиночества, от ненужности, от старости, от исковерканной молодости, поруганного мужества и оскверненного девичества, — свозили людей, обезображенных в драке, в алкоголе, в ревности, в грабеже, — молодых, старых, детей. Каждые пять минут к подъезду подходили кареты скорой помощи, и братья милосердия вытаскивали из них людей с разможенными черепами, истекающих кровью, в запекшейся мыльной пене отравы на губах и подбородках. Этих людей, из которых каждый, оставшись жить, умоляет вернуть ему жизнь, — этих людей на носилках растаскивали

по операционным и покойам, чтобы вынимать из человеческого мяса и костей пуды и ножи, чтобы заштопывать раны, вставлять на должное место вывихнутые кости, чтобы нейтрализовать яды, — с тем, чтобы — все же — большая часть этих людей к утру умерла, а оставшиеся в живых — вернулись к жизни калеками или полукалеками, — с тем, чтобы институт Склифасовского сто-нал всеми человеческими стопами и болями, которые приводят человека к смерти — —

— — это одни задворки — —

— — на других задворках — в притонах Цветного бульвара, Страстной площади, Тверских-Ямских, Смоленского рынка, Серпуховской, Таганки, Сокольников, Петровского парка — или просто в притонах на тайных квартирах, в китайских прачечных, в цыганских чайных — собирались люди, чтобы пить алкоголь, курить анашу и опий, нюхать эфир и кокаин, коллективно впрыскивать себе морфий и совокупляться. В подвалах нищенства людьми командовала российская горькая под хлип гармоник. Бульвары и рынки командовались кокаином. Российский Восток цирванствовал опиум и анашой, засаленными парами эротических снов перед приходом милиции. На задворках этажей и рублевого благополучия, ночами, мужчины в обществах «Чорта в ступе», или «Чортовой дюжины», членские взносы вносили — женщинами, где в коврах, вине и скверных цветчишках женщины должны быть голыми. — И за морфием, анашой, водкой, кокаином, в этажах, на бульварах и в подвалах — было одно и то же: люди расплескивали человеческую — драгоценнейшую! — энергию, мозг, здоровье и волю — в тушиках российской горькой, анаши и кокаина — —

— — на третьих задворках, в Лефортове, расстрига-поп, в заброшенной церкви, ровно в полночь, служил

черную мессу, — приход чиновных подонков истерически вздыхал под гнусе попа, — поп отрезывал голову черному петуху на обнаженной груди женщины, которая лежала на алтаре — —

— — на четвертых задворках —

— — на пятых задворках — —

— —

— — Иван занял номер в «Париже», разложил свой чемодан, в номер его провела, раскрывала постель и налиwała ванну расторопная уборщица, кокетливая, ухмыляющаяся, в белой наколке и в неслышных ночных туфлях.

Приняв ванну, Иван вышел на улицу.

Тверская текла людьми и желтым светом, рожки автомобилей подмазывали своими басами шелест толпы. Иван свернул к сини Кремля, пошел вниз подкремлевским садом, прошел под мостом, связывающим Кутафью и Троицкие ворота. Здесь было пустынно, сыро по-осеннему и сторожко. Под ногами шелестели листья. Мрак был холоден.

Ивану следовало бы пройти Тверской до Пушкина, там свернуть бульваром до пролома Богословского переулка и там вникнуть в район студенчества и Бронных, где жили Обоыни, — но Иван пошел другой дорогой. Медленно, наблюдая окрест, он спустился кремлевскими рвами к Москва-реке, пошел под храмом Христа к москворецким плотинам, где Москва-река шумит прибоем. Там Иван долго стоял, прислушиваясь к шуму падающей воды, — с простора омутов заплотиненной воды несло сыростью и мраком. Кремль уходил во мрак, небо над городом было желто-зеленым. Никого кругом не было. Напротив, на конфетной фабрике ночной сторож трещал колотушкой, — с мостов долетали звоны трамваев.

И тогда к Ивану подошли трое.

— Дай закурить, товарищ! — сказал один из троих.

И сейчас же двое других выхватили из карманов наганы, приставили их к лицу Ивана.

Первый сказал:

— Руки вверх! молчать!

Иван — памятью фронтов — понял, что его сейчас убьют. Он поднял руки, чтобы рассчитать действительность. Но первый — ловкостью хорошего портного — расстегнул его куртку, обшаривая — массажистом — тело. Иван понял, что речи о смерти нет, и пассивно успокоился, удивляясь, как безразличны ему эти шарящие по телу руки. Бандит вынул из заднего кармана револьвер, — Иван вспомнил, что этот револьвер был у него десять лет, некогда он отобрал его у раненого немецкого офицера, под Нарочем, — и удивился, как спокойно он отдает его, старого друга. Бандит расстегнул пуговицы, шарил и ощупывал совершенно виртуозно. Бандит снял кэпи с Ивана, швырнул свою фуражку за гранит набережной в воду и надел кэпи Ивана на себя. Два дула револьвера были все время перед лицом Ивана, мешая ему видеть.

В кармане у Ивана, еще от поезда, по рассеянности, осталась никелированная мыльница: бандит вынул ее и не мог раскрыть, — Иван вспомнил, как перед Москвой он ходил мыть руки, и не припоминал сейчас, как засунул мыльницу в карман.

Бандит сказал:

— Что это такое?

— Мыльница, — ответил Иван.

— Открой! — сказал бандит.

Иван открыл.

— Зачем мыло носишь с собою?

— Я приезжий.

— Где служишь?

Иван затруднился ответить сразу на этот вопрос (если бы его спросили — кому служишь? — он ответил бы сразу: — революции!), — Иван стал объяснять:

— Я... моя профессия...

Бандит не дослушал.

— Ага, — профессор! — так бы и говорил! — сказал бандит миролюбиво.

Иван подумал, что для бандитов, должно быть, так же авторитетно звание профессора, как для сельских учителей.

— А я думал, что ты ресефесер! — пошутил бандит и заговорил на воровском наречии, обращаясь к помощникам.

Бандиты опустили наганы. Один из них осветил электрическим фонариком землю под Иваном, поднял с земли перчатку и отдал ее Ивану.

— Катись! — сказал бандит. — Постой! — где прожитаешь?!

— В «Париже», — ответил Иван.

— Ага. Документы пришлём завтра, с рассыльным. — Катись колбасой, счастливого пути, товарищ профессор!

Но прежде чем Иван двинулся, бандиты исчезли, точно провалились сквозь землю.

У Ивана были взяты револьвер, бумажник, часы и кепка.

Иван был совершенно покоен. Он постоял у набережной, послушал шум воды, зевнул и пошел обратно, решив, что без кэпи в гости идти неудобно. Он шел сначала медленно, потом ускорил шаги, — мимо храма Христа он уже бежал. У моста он нанял извозчика, забыв, что у него нет денег, чтобы расплатиться. Он не замечал, что он бежал, — ему казалось, что он совершенно покоен.

Портье заплатил извозчику.

В номере была открыта постель, ярко горело электричество. Иван сел к столу. В комнате у дверей стала уборщица, не уходила, перебирала белый фартук. Иван посмотрел внимательно. В нарочитой смущенности и в совершенно недвусмысленном лампа-дрица, горничная склонила голову набок и сказала:

— Может, чего хотите с дороги?

Иван посмотрел на нее внимательнейше, Иван сказал медленно:

— Садись.

Иван смотрел внимательнейше, разглядывал, в удивлении поднявшись со стула — —

— — женщина исчезла в его сознании, сознание помутнело — — он увидел, как на стул село некое громаднейшее государство. Он увидел миллионы нечеловекоподобных людинок, которые бежали, катились, текли по этому закупоренному кожей сложнейшему государству — от *regretium mobile* сердца к кухням кишек, к озонаторам легких, к лабораториям мозга. Человек, сидевший на стуле, думающий, страдающий, продающийся, — исчезнул. Иван видел рот, красные губы, — и видел, как за жерновами зубов, за мясом языка, через глотку в желудок шел кусок коровьего мяса — с тем, чтобы из коровьего превратиться в человечье. В клоаке кишек собирались отбросы столиц. Глаза шли в генераторы мозговых извилин. — Но рот, губы и глаза исчезли за счет мостовых звеньев позвонка, парашетов тазовых костей. Ежесекундно сердце гнало марши крови. Легкие набухали воздухом, чтобы человеченки крови мылись в нем. Тюбы кишек, кишечные дистрикты содрогались удавами. Мозговые клетки обсысывали фосфор. — Женщина двинула ногой в ночной туфле: — какая сложная система эстафет полетела к позвонку, к спинному

мозгу, к коре большого мозга и в подкорковые майораты — и обратно от них в исполкомы мышечных нервов, в провинции человеческого мяса, построенного мышцами, чтобы — перестраиваясь, сжимаясь и разбухая — человеческое мясо подняло само себя на воздух, — себя и кости, заросшие этим мясом, и ночную туфлю, чулок, подвязку и юбку, — подняло в воздух и поставило на другое место, вновь и вновь послав об этом эстафеты, — такие эстафеты, о которых ничего не узнал предсовнарком этого государства — сознание, кора большого мозга. — За эпидермисом, мальцигиевыми слоями, слизями и мраками кожи — поистине сложнейшее жило государство красных и белых кровяных людинок, лилового человеческого мяса, белых костей и нервов, страданий, радостей, соображений, сознательного и бессознательного, такого, что не познано еще корою большого мозга.

Горничная давно уже не улыбалась, недовольно и настороженно посматривая на молчащего человека. Иван разглядывал ее болезненно остановившимися глазами.

— Ты дура, — негромко и очень сердечно сказал Иван. — Ты не знаешь, что кроме незнания, которое ограничивает наш мир, ты — и я — мы ограничены еще вот твоим мясом, из которого нельзя выскочить.

— На что это вы намекиваете? — сказала горничная, обадриваясь, готовая к улыбке.

— Ну, ты смотри. Это все равно, ты или я. Я некрасивый, ничего у меня нет. Ну, ты смотри, что это на тебе за туфли? — бедность одна! — а вот ты сидишь, кокетничать за пятерку собралась, довольна сама собою. А на самом деле ты — переваренное мясо — и больше ничего, так, одна мышечная клетка из человеческого организма.

Иван помолчал.

— Вот, радий в своем пути разложения приходит к свинцу. И вот, свинец, возникший из радия, имеет

атомный вес 296, 09, а обыкновенный свинец, пльумбум, неизвестно как возникший, имеет другой атомный вес — 207, 2. — Понятно? — ничего не понятно!

Иван помолчал.

— Ты прости, девушка, я из мозгов своих выскочил, — я куда ни посмотрю — все у меня в глазах разваливается — —

— — и он не кончил — —

— — опять

все провалилось, и опять возникло громадное государство костей, мяса, крови, нервов. Иван уже не знал, кто это государство — женщина ли, сидящая перед ним, или он сам. Во мраке черепной коробки повисли сталактиты времени, чердаками рухляди свалена была память: и во мраке черепной коробки было совершенно темно, совершенно, — черепная коробка разрасталась в невероятия, — как на заводе в шахте, Иван бродил по черепной коробке, спотыкаясь о память и с фонарем в руке. И — уже непонятно откуда, из черепа или из шахты — Иван вышел в ночное поле, в степь: — —

— — трое

здоровых они несли на плечах винтовки и мертвецов — —

Горничная — уже не проститутка кокетливо, уже не злобно, — но глубоко по-человечески, матерински-нежно толкала человека с остановившимися глазами к постели, — подталкивая, шептала:

— Ну, ну, ты ложися, ложися, поспи, — поспи, говорю!..

Иван отвечал тихо:

— Да, да, я посплю. Я очень устал. Ты стань на караул, возьми винтовку. Я посплю.

Матерински — женщина снимала сапоги с Ивана, раздела, положила, укутала, — и ушла из комнаты, бесшумно шлепая ночными своими туфлями.

Электричество осталось гореть.

— —

— — дальше Москва — комиссару Ивану Москве — была бредом, повторностью явлений и нереальностью.

— —

— — артист Владимир Савинов — в закулисном клубе одного из московских академических театров, в заполненный час, в заседании общества «Честное Слово» — читал лекцию о кукольном театре, о марионетках. Слушателями были артисты и немногие гости. Актер Владимир Савинов имел асимметричное лицо астеника: не смотря на русскую фамилию и явное российское происхождение, — разрезом глаз, крыльями бровей, лбом, цветом кожи — Савинов походил на индуса. Говорил Савинов лаконически, короткими фразами. Актеры знают тайну вещей — путь вещей в достижениях актерских целей: и Савинов повязал свою голову оранжевой чалмой. Тип астеников на русском языке называется — породю шалопуных: быть может, Савинов был и диспластиком.

Актер Савинов рассказывал историю марионеток, их путь через века, о том, что сейчас, вышед из веков, они остались в Осака в Японии, в Калькутте в Индии, в Каире в Египте, — что индийская память насчитывает марионеткам три тысячи лет, — этому абстрагированию искусства, когда человек в искусстве отказался даже от тела, тело заменив куклой.

Мозг и слова актера Савинова носили фантазию слушателей по неизученностям пространств и времени, по тем историческим закоулкам, которые называются искусством, которые всегда чуть-чуть истеричны и затырканы в дальние и темные углы кварталов темной человеческой радости.

И после лекции Владимир Савинов демонстрировал свое искусство: искусство владеть марионетками.

Была растянута черная материя, до третьей пуговицы жилета закрывающая Владимира Савинова. Был потушен лишний свет.

И тогда из-за черной материи вышла марионетка, женщина в плаще египтянки. Она поклонилась глубоким поклоном, опустив руки к коленам. В руке ее было опахало. Голосом, собранным интонациями одних булыжин, Владимир Савинов, свисая над марионеткой, читал стихи. Марионетка — египтянка — женщина величиною меньше четверти метра — шла, шла, ступала своими сандалиями, как самая настоящая женщина, — шла, заставляя забыть, что она — только кукла в ловкости рук Владимира Савинова, дергаемая невидимыми ниточками. Она была примитивна. Она опустила опахало, она постояла в задумчивости, руку прислонив к глазам, — и она взяла сосуд с водою, поставила его себе на плечо, она согнулась под тяжестью сосуда, — и она пошла обратно.

Вслед за нею вышел индус в белых одеждах, — он сел на землю, подобрал под себя ноги, — он склонил голову, — и он задумался, как думают века истории его отечества.

Это было удивительнейшее зрелище, удивительная темная условность искусства, — и темная сила искусства, колоссальная, — ибо эти куклы — совершенно категорически жили в ловкости рук Владимира Савинова, человека с лицом диспластика, говорившего голосом булыжин.

Куклы: — жили, оживали в руках актера Владимира Савинова — —

— — Иван был у врача.

Он позвонил в подъезде, разделся в прихожей, ожидал в приемной, прошел в кабинет.

В тот момент, когда Иван входил в кабинет, в кабинет из другой двери входил профессор — из столовой, где

на столе кипел самовар. Профессор по психиатрическим делам оказался человеком неожиданно-тучным и имел такой вид, точно он спал ежесуточно по пятнадцати часов.

Ивану сразу показалось, что профессор стал его подкарауливать.

Профессор подал руку, сел, предложил сесть, снял крошку с пиджака и щелкнул портсигаром: « — курите? » —

Иван взял папиросу, но не закурил.

— На что можете пожаловаться? — спросил профессор, раскуривая папиросу.

И дальше Иван не помнил своего визита к профессору по психиатрическим делам. Он вспомнил себя на улице, в руке у него была бумажка с адресом Донской психиатрической лечебницы. Он разорвал бумажку и бросил ее. Он — тогда на улице — совершенно точно ощущал в себе два сознания: одно, теперь владевшее им, было темным, волчьим сознанием, страшным, проваливающимся в непознанные непонятные инстинкты, — вот те, которые заставили разорвать адрес больницы, — другое сознание было ясным, прозрачным и — безвольным, — оно следило за первым и было бессильным.

— — Иван пошел к Обопыню вечером. Обопыней не было дома, старик должен был прийти домой с минуты на минуту, — Ивана провели в темную комнату, чтобы он ожидал.

Обопыни в первый год революции поселились в княжеском особняке, в упраздненной домово́й церкви. Обопынь-старший свой кабинет устроил в алтаре. Обопынь-старший нашел досуг стащить в свой алтарь неразграбленные вещи князей: его алтарь хранил в себе покоевстве дубового письменного стола, дубовых кресел и дивана в медвежьей шкуре. Стены и пол Обопынь застлал

коврами, которые крадут звуки. Печь, когда она горела, населяла алтарь покойствием, так же, как покойствие вселяли старинные кувалдинские часы, отзванивающие каждые четверть часа менуэтами осьнадцатого века. Портьеры кутали окна алтаря, как женщины кутают плечами плечи. Обопынь внес сюда запахи псины (запах холостяцкого его положения) и касторового масла (запах его профессии): ладанный запах алтаря давно был выветрен.

Иван прошел в кабинет и сел на медвежью шкуру, растянувшись, откинув голову к спинке дивана. Комнату эту Иван давно знал, и давно знал запахи Обопыня. Так Иван просидел минут десять.

Он уловил в воздухе, кроме запахов холостяцкой псины и касторки, третий, непонятный запах. Он стал принюхиваться. Непонятный, бередливый, чуть заметный, — Иван не сразу узнал запах разложения, мертвечины.

— Наверно под полом издохла крыса, — решил Иван.

Но запах не переставал беспокоить, и в памяти стал фронт.

Во мраке комнаты, за тяжелыми коврами мягкая была тишина. Иван лег на медведя, положив под голову подушку и заложив за голову руки. И тогда он услышал, как за головою его, в углу, нечто гудит, едва слышно, как гудят морские раковины.

Иван поднял голову и — поспешно сел на медведя: — в углу, едва заметно, призрачным фосфорическим светом светились человеческое лицо, шея, плечи, — бередливое шипение морской раковины шло из этого же угла.

Иван поднялся с дивана, пошел навстречу фосфорическому свету, в углу стоял человек. Иван зажег электричество.

В углу стояла мумия.

Но Иван — но Иван признал в ней — не мумию: — в углу — для Ивана — стояла Александра. Иван подошел вплотную к мумии: мумия пахнула мертвецом. Иван всмотрелся: закрытые веки мумии, ее лоб, ее ржаные волосы, ее прическа, ее губы, ее непонятная, прекрасная улыбка на губах мумии, — все то, что мумия пронесла через тысячелетия, — все это удивительнейше было похоже на Александру, — через тысячелетия все это удивительнейше повторилось в Александре — —

Но мумия рассказала и о другом: Иван узнал, что он обладал Александрой. Та женщина, имя которой он забыл в бреду, которую он забыл в бредовых памороках кубанского июля, — та женщина, с которой сошелся Иван в первый и последний раз за свою жизнь, тогда в июле в степной больнице, — была Александрой и мумией одновременно. Тогда в том бредовом июле безыменная девушка отдалась Ивану, чтобы стать женщиной, — тогда она встретила Ивана такую страстью, такими поцелуями и таким отдаьем, которые могут родиться только в бреду — — —

Многие куски этого вечера совершенно выпали из памяти Ивана Москвы, навсегда. В кабинет вошел Обопынь-старший. Иван не видел его. Обопынь-старший видел совсем не то, что в бреду казалось Ивану.

В углу комнаты стояла неподвижная мумия. С открытыми глазами лунатика человек склонился пред мумией. Всем благоговением, которое может в себе собрать любящий человек, человек целовал мумию — ее глаза, губы, щеки. Обопынь оторопело и удивленно говорил: — «грудку, грудку поцелуй, ножки!», — и человек целовал сплюснутую тысячелетием пелены грудь мумии, коричневые, иссохшие ее ноги, где мясо превратилось в ремень. Совершенно оторопелый Обопынь командовал: — «видишь, она просится к тебе на руки, — возьми

ее, приласкай, поноси!» — и человек, корчась под тяжестью камня мумии, носил голую мумию по комнате, качал ее, как ребенка, и пел ей зырянскую колыбельную песню.

Это видел оторопелый Обопынь.

Иван видел, как Александра, умершая три тысячи лет тому назад, пошла к нему навстречу. Он, Иван, был вне времени и пространств, — он шел навстречу трехтысячелетней Александре. И он обнял Александру — по праву, по прекрасному праву, которого не было у него в жизни, которое дала ему кубанская ночь. И Александра склонилась к нему на грудь. Всем благоговением и всею нежностью, какие он мог собрать в себе, он целовал глаза трехтысячелетней Александры, которая, в мудрости трехтысячелетий, вышла к нему обнаженной, — всем благоговением он коснулся ее губ и колен. И он взял ее на руки, он баюкал тысячелетья на своих руках, он понес на груди самое прекрасное, что было у него в жизни, и он запел, как пела над ним его мать.

Обопыню, должно быть, стало страшно, — он сказал весело:

— Ванька, брось, поставь ее на место, брюхо надорвешь!..

И Иван покорно поставил мумию в угол.

— Ты присядь, Ваня, что ты на самом деле! — брось! — сказал Обопынь.

Иван покорно сел на медведя. Обопынь посмотрел на него удивленно, повеселел, недоумело. Иван сказал:

— Я задремал, что ли. Ты уже пришел.

Обопынь повеселел, заговорил:

— Мумию рассматривал?! — вот, брат, на старости лет женился, три тысячи лет барыньке. Три тысячи прожила, а в нашу революцию смердить стала. Вот, третью неделю воюю с ней, сам с собою борюсь.

Обопынь закурил толстую папиросу. Глаза Обопыня заплыли в тяжелые складки морщин, как бывает иной раз у бульдогов, — и, как бывает у бульдогов, белки глаз Обопыня были испещрены красною сетью веноч. Обопынь наклонился к Ивану. Обопынь был очень серьезен.

— Я сейчас с аэродрома, — говорил Обопынь. — Мне говорят, я вылетался, потерял сердце, — ерундиссима! — Куда угодно, как угодно я поведу машину, — в облака, за облака, — с закрытыми глазами поведу, как хочешь. — Нет, я не потерял сердца, — пусть кто-нибудь другой вылетался, это не мое дело!.. Я с мумией живу, поди!.. Ерундель, — по-французски — ласточка!..

— Это что значит — вылетался? — спросил Иван.

Обопынь ответил тихо:

— Это, знаешь... наша профессия. Пилоты, современем, теряют сердце, у них появляется неуверенность, они начинают бояться воздуха, у них пропадает глаз, они неверно ведут самолет, — нервы гадятся. Если их болезни не заметят, они всегда гробятся, разбиваются.

Обопынь помолчал.

— Страшная болезнь! — крикнул он. — Человек боится воздуха, марает, как шмендрик, — и все-таки лезет в воздух, не может жить на земле, нечего ему на земле делать, — боится воздуха и лезет на него, — а на земле скучает, томится, водку пьет, — а в воздухе еще больше того дрожит от страха и — гробится на ровном месте, как шмендрик.

— Я вот тоже вылетался, — сказал Иван.

Обопынь заорал:

— Нет, я не вылетался, — нет-с, — ерундиссима, аттанде немного!.. Я в себе силу открыл. Велю, и никакая машина не может разбиться. Велю, и мумия будет танцовать. Это я тебе велел целовать мумию.

Иван встал, чтобы идти домой. Обоынь предлагал ему подождать сына, который хотел свести стариков к артистам в гости, где будут показывать марионеток. Иван ушел.

— — на том месте, где ныне стоит памятник Тимирязеву, в октябрьские дни 1917 года стоял трехэтажный дом. Этот дом был разрушен юнкерами и пушками. В этом доме Иван дрался за свою биографию. В дни до-биографии Иван обедал в этом доме несколько раз.

Ночью, когда Иван шел от Обоыней, — пролазом Богословского переулка, мимо старенькой церквечки, он вышел на Тверской бульвар и пошел направо, к Никитским воротам, чтобы посмотреть на тот дом, где он дрался за самого себя и за прекрасное человеческое будущее. Он обогнул кофейню, которую старые москвичи называли «Греком», и пошел вниз.

Он думал о том, что было тогда, в Октябре.

Он ждал увидеть вывеску столовой и трехэтажное здание.

Во мраке он увидел памятник.

«Как же это я ошибся, — подумал он, — шел к Никитским, а попал к Пушкину?»

И он повернул обратно.

Ночь была черна и безлюдна.

Он прошел мимо «Грека». Он увидел впереди памятник.

Он остановился в удивлении.

Он пошел к памятнику.

Это был Пушкин.

Иван прочитал:

И долго буду тем народу я любезен,
Что чувства добрые я лирой пробуждал.

Иван потер себе лоб, осмотрелся кругом и пошел обратно.

Бульвар был темен и глух, — впереди стоял Пушкин.

Иван вжал голову в плечи и — уже не пошел, а побежал обратно.

Впереди стоял Пушкин.

Пушкин раздвоился.

Пушкин замыкал пути Ивана.

И тогда Ивана обьял леденящий страх. Вжав голову в плечи, крадучись, на цыпочках, Иван вышел с бульвара в пролаз Богословского переулка, — Ивану казалось, что Пушкин спрятался за церковью, — Палашевскими Иван вышел на Тверскую, пошел к Дмитровке. Пушкин был за каждым углом. Иван шел на цыпочках.

Александра — подлинная — знала о том, что у нее был бредовой июль, лишивший ее девичества, — но там в бреду, как никогда в жизни, она не узнала, что мужем ее был Иван Москва, запамятавав это бредом.

— — утром Иван сложил чемоданы, чтобы уехать в этот же день. Он послал курьера за билетами и к Обоыню, чтобы тот был готов к отъезду. Сам Иван собрался в ВСНХ, в ЦСУ и в ЦК. Иван действовал и точно представлял себе порядок вещей. Он заготовил заявления о болезни и о негодности для работы. В гостинице, когда он спускался по лестнице, чтобы выйти на улицу, его остановил рассыльный и вручил ему сверток. В свертке были его вещи, которые у него отобрали бандиты, револьвер, бумажник, часы и кепка, — и было письмо.

В письме содержалось следующее:

«Дорогой боевой товарищ и командир Ваня Москва! Пишет тебе твой боевой товарищ и рядовой красноармеец, Семен Клестов с которым вместе ты топил боевых мертвецов в Кубанских степях. Просмотрел

я твои документы и сердце мое кровью обдилось, как разъехались наши дороги ты ответственный красный директор а меня судьба вывела на большую дорогу. Прости меня, что тогда в темноте я тебя не узнал. Очень хотел я к тебе зайти старое помянуть, да сам понимаешь, не статья мне в ваши владения ходить.

Низко кланяюсь тебе дорогой боевой товарищ и командир Ваня Москва и остаюсь рядовой Семен Клестов».

— —
— — вечером Иван Москва и Обопынь лежали в купе мягкого вагона.

Иван возвращался на завод, чтобы сказать Александре о том, что она — жена его, что он — ее муж. Тот бредовой июль был их венчанием, когда девушка Александра стала женщиной.

Иван дремал. Обопынь говорил:

— Хочешь, сейчас сюда вызовем эту самую мумию? — она тебе чай будет наливать! — —

— — республиканские слова:

ЦСУ, НТУ, ВСНХ, ПГУ, Промбюро, рабфак — —

ГЛАВА ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ

Вне обстоятельств.

...под уральскими металлургическими заводами земли крепки, как пот.

От дней Петра каждый завод на Урале помнит хорошее столетие быта, — и все заводы построены, как один. Леса кругом, глубокая здесь издревле лежала балка, по дну ее протекал ручей, или речуга, — и речугу заплотинили плотиной, иной раз верст на пять дли-

ной: и с одной стороны плотины возникал огромный пруд, целое озеро, а с другой — в овраге, в лощине под плотиной ставился тогда завод. Так делалось к тому, чтоб, кроме кабальных рабочих рук, пользоваться еще бесплатную водяную энергию, — силою воды пускали завод.

Каждая такая плотина помнит столетье, — заводы стоят в сырости, в оврагах, прокоптились, одряхлели, на заводах работают вручную, — на заводах в домнах и мартенах плавят чугун и сталь, как плавил столетие тому назад, — не каменным — древесным углем, деревом, дровами: и у каждой заводской плотины — огромные сплавы дров, и пыхтит двигатель на лесопилке, готовя топливо заводу. И направо и налево от заводов, подпирая лес, в леса влезая, стоят прокопченные, приземистые, широкопазые избенки рабочего поселка. Рабочие здесь — вручную льют чугун, вручную мнут болванку, а дома пахнут землю, ловят рыбу и пасут скотину (и такие горькие ботала звенят на шеях у скотины!) Рабочие с поселков остались здесь от крепостных и «государственных» крестьян.

Красный месяц поднимается на востоке, красною раною уходит солнце на западе, защитившись огненными щитами облаков: по лощинам в синей мгле лесов, меж гор вспыхивают красные раны мартенов — на Чермозе, на Майкоре, на Пожве, на Кувине, на Чусовой.

На заводах, на заводе из кусков чугуна («штыкового», «полового», «изложницы», «скардовника»), почти вручную, первобытно, почти как при Петре, выковывают серпы, косы, рельсы, чаны, котлы, кровельное железо. В мартене, конечно, зажат кусок солнца: туда надо смотреть, как на солнце, через синие очки, — но солнце мартена становится простою серою болванкою. Эту болванку разогревают в сварочном цехе: и с помощью десятка

рабочих рук и прокатного станка красное тесто железа раскатывают в длинные полосы, как хозяйка, когда она хочет такими полосами покрыть пирог. Эти скатки режут на куски, почти вручную: и куски идут в железопрокатный цех, вновь их раскаляют, вновь их катят, как хозяйка скалкой тесто на пирог. Потом эти листы обрежут, проверят, промаслят, сложат — и будет готово листовое железо, различных качеств и толщин.

Потому что здесь работают первобытно, здесь на каждой пачке железа мастер пишет свое имя, отчество и фамилию — Карп Маркович Москва, внучатный племянник Ивана.

Там, где надо железо размять, прокатить, — там работает молот, силу получивший от воды, ничуть не сложнее, чем на наших деревенских водяных мельницах, где, как сказывают сказки, проживают в омутах водяные.

На заводе тесно, копотно, все старо, все завалено столетним мусором, вагончики таскают вручную. — Над заводом, за плотиной — простор озера. — Избы на поселке — широкопазы, с коньками на крышах, вестниками путины, еще не конченной на Руси — —

— — это быт,

родивший Ивана Москву.

Заключение первое.

Иван говорил Александре, неизвестно — в бреду или в яви:

— Радий!.. это совершенно неверно, что он есть некий сверхестественный кладезь сверхматериальной силы. Это совсем не потому, что он обладает какими-нибудь особенными силами или содержит непознанный запас энергии, которого нет у других элементов... Слушай?! — слушай! — радий изумителен только потому, что он распадается быстрее всех остальных элементов, тогда

как иные тела или вовсе не изменяются, или же изменяются так медленно, что человек не в силах проследить за ними. — Слушай, — радий из рода азров, — «полюбив, он умирает». Да, да, любовь есть распадение энергии, азры суть конденсированная энергия, — потому они прекрасны. Да, да, и неслучайно радий обладает способностью наделять своею радиоактивностью окружающие предметы. Но, разлагаясь, умирая, азра-радий дает в триста шестьдесят тысяч раз больше энергии, чем при сжигании того же веса угля, — слышишь, какая энергия?! — Так умираю я.

Иван говорил:

— Человечество стоит на пороге знаний. Этим знаниям я отдал свою жизнь. Первым шагом человечества от варварства к цивилизации было искусство добывать человеческой волей огонь. Но сейчас, когда человек стоит перед знанием о внутриатомных запасах энергии, на пороге обладания этой энергией, — сейчас человечество вновь находится в положении первобытного человека, когда этот первобытный стоял перед костром, зажженным молнией, не зная, как добывается огонь. Те источники энергии, которыми мы сейчас пользуемся, теперь мы считаем просто остатками от первобытных запасов природы, — это есть, это было. Будет, — будет, когда ключ от сокровищницы природы будет в наших руках, когда мы научимся превращать элементы — по нашей воле — из одного в другой. Человек — тоже только запас энергии: человек будет в руках человека: «случайности распада» будут скинуты со счетов человеческой жизни. Это — будет. Пока же — у человечества в руках только двести тридцать граммов радия, да, только!..

Иван говорил:

— Было принято рассматривать эволюцию Земного Шара, как результат великих катаклизмов и катастроф.

такой дощаник, которому от рождения лет пятьсот, по-
ди, — здесь на этом поле лежал самолет, человеческая
воля, несущая человека в небо.

Право быть в воздухе — строгое право, и Обопынь
был молчалив и торжественен.

— Контакт!

— Есть контакт!

Пропеллер ревет, толпа отвернулась от самолета, —
или самолет отвернулся от толпы? — Земля мчит стре-
мительно — до того момента, пока она не качнулась
под самолетом: значит, самолет оторвался от земли, зна-
чит, самолет в стихиях, где нет быстроты и высот. И тогда
уже не самолет, — самолет стоит на месте, — а земля
под ним ползет назад, река, леса, поля, игрушки дере-
вень, рубаха России. Клопочет пропеллер, солнце сбоку,
рядом, — режет ветер. Минуты в воздухе — часами.

Облака идут под Иваном, самолет ушел за облака.
Лермонтов верно сказал: караваны облаков. Караваны
идут под Иваном. Солнце — рядом, то солнце, во имя
которого качнулась однажды в мозгах Ивана земля.
И если бы Иван был в Арктике, он понял бы здесь за
облаками, что он — вновь в Арктике. Те облака, что
над самолетом, это — небо и глетчеры вдаль, они розо-
веют от вечного дня и солнца, они медленны. Те облака,
что под самолетом, это льды, которые идут по сини моря.
Леса вдаль внизу, меж облаков — слились в синь моря,
там во мгле. Конечно, Арктика, — вон та большая льдина
плывет на самолет, — вон там на горизонте стал глет-
чер, — вон заторосились айсберги. Какое странное солнце
в Арктике! — оно не идет высоко, но оноечно, если
там лето.

Но вон там впереди облака синеют, свинцовеют, солнце
там ало, легкие тучи собираются табунами, там идет
тучища. Самолет летит туда. Там не видно земли. Там,

внизу, где должна быть земля, — синь и мрак, которые
не пускают туда глаз, — в эту синь закуталась рубаха
России, щетина лесов. И чуть влево от самолета, под
самолетом полыхнула молния, гром переревел пропел-
лер. Под самолетом — гроза. Самолет идет вперед: он
единоборствует со стихиями, — ибо — вот кинуло са-
молет вверх, вот брошен самолет на крыло, вниз. Само-
лет летит над грозой. Минуты в воздухе — часами. Еще
и еще самолет кинут направо, налево, вверх, вниз. Гре-
мит гром и полыхают молнии. Слева под самолетом свин-
цовая синь, видны потоки дождя, там полыхают, спешат
молнии. А справа от самолета — безбрежный простор
солнца, небесной сини, лазурной лесной сини, синих
далей. — Молния, гром, кинуло вверх и вниз, звон
в ушах, — и видно, как затрепетала машина, как крылья
уперлись в воздух, зазвенели: быть может, на момент
самолет остановился в воздухе, — но пропеллер опять
уже рвет стихии, рвет облака, рвется вперед, вперед.
Гроза — позади. — Сумерки, и вон из-за лесов, из-за
земли красный, огромный встает диск луны, багрово
красит облака: это на востоке, — а на западе красною
раной уходит солнце, в кровь раскалывая облака. И земля
внизу — синя, туманна, в сизой дымке, — и видно тут,
и видно там, как леса горят в лесных пожарах, — мглился
там внизу земля.

И тогда впереди внизу возникла Полюдова лощина,
Полюдова гора, где Иван Москва разлагал земные недра.

Самолет пошел на снижение.

И тогда — —

— — бульдожьки морщины расправились у глаз Обо-
пынья, глаза вылезли из орбит. Самолет шел штопором.
Иван инстинктивно хотел встать и не двинулся, привя-
занный ремнем. Самолет стал в пике. Земля вертелась
внизу волчком. Глаза Обопынья лезли из орбит. Руки

Обоюнья были свободны. Снеж, борт-механик, сосредоточеннолицый, лез с парашютом в руках на фюзеляж, на крыло: с крыла его сорвало ветром, надувшимся парашютом. Тогда кровавой ракетой вспыхнул бензин — —

— — Александра вышла на гору встречать самолет. В синем небе вспыхнула ослепительная ракета. Этою ракетой умирал Иван, муж, о котором не знала жена. Как некогда для Ивана солнце, сейчас неподвижными для Александры были — она и ракета, и качалась, качалась, падала земля. Александре было совершенно несущественным, что с земли встал веселый Снеж, отряхивая колени — —

В час смерти Ивана внизу, под обрывом уже горели огни завода, того завода, выработкой которого Иван хотел установить, что в мире нет границ количеству свободной энергии, кроме пределов человеческого знания. Над землею шел тихий зырянский вечер...

Заключение третье.

Следопыт ушел с завода за день до смерти Ивана. Вернувшись к себе на урочище, куда он шел две недели по северной Кельтьме и по Екатерининскому каналу, закрытому семьдесят лет тому назад, — Следопыт, вернувшись домой, на родину Ивана, рассказывал о своих впечатлениях примерно так:

— Конечно дело, как я пришел, значит, на завод, один добрый человек свел меня сейчас к Ивану. Сидим это мы, чаевничаем, и вдруг по небу летит ероплан, пролетел и уселся на земле. — «Слышь, — говорит Иван, — ткни суды пальцем!» — я ткнул и весь дом загорелся лампами, которые светят, а не горят и не воняют. Тут пришли летчики, напоили меня пьяным, и я ничего не помню. Только знаю, проведена от Москвы на завод труба, и в ту трубу на завод говорит народный комиссар Луначарский разные слова. И говорит мне летчик по

фамилии Снеж: — «придется тебе завтра лететь с нами!» — Я думал, он пошутил, и пошел с ними на гору ради шутки. Пришли, а он, еловый сук: — «влезай, — говорит, — в ероплан!» — Вот уж я испугался. Я побежал, да меня поймали. — «Если, — говорит, — побежишь, мы тебя арестуем!» — Думал, думал, пришлось садиться. Я не иду, а они подхватили меня под руки и повели, привязали там на ремень, чтобы не убежал. — «Не бойся, — говорят, — отец, если упадем, то вместе!» — Вот и поехали. Сначала это по земле ста полтора саженой летели, только брызги из глаз сыпались, — а потом на воздух поднялись, вот уж страшно, — летим, летим, потом вдруг сядем книзу аршина на два, а то и больше. Я поймался за начальника и сижу с ним. Он спросил: — «видишь, — говорит, — завод?», а я хоть и не вижу, а говорю, что видать. Земля внизу вроде тарелки. Конечно дело, покрестился я и заговор прочитал. — Потом мы опять сели на землю, все начальство на заводе меня узнало, за харчи даже не взяли. А начальник Снеж удостоверение написал, — «покажи, мол, дома, что ты летал, а то не поверят»... — Всем говорю, — хорошая штука ероплан, — всем советую сходить полетать. — Вот так и полетал, даже старший начальник по милиции остановил меня на дворе и спросил, как я летал. А потом Иван зазвал меня к себе, посадил на стул, спрашивал, как я летал, что на уме было, — я тут сознался, что сначала про себя матюгал на летчиков и даже перекрестился, а сейчас, говорю, согласен лететь!.. — Всем советую сходить полетать!.. —

Заключение четвертое.

И за день до смерти Ивана ушел с завода Яшка.

Через пять дней после смерти Ивана уехала с завода Александра.

В Усть-Куломе Александра догнала Яшку.

...«Зыряны» — значит — «оттесняемые», — но настоящее имя Коми — Коми-народ, — Коми-морт. В Усть-Куломе Александра спросила:

— Сколько верст осталось до железной дороги?

— Семьсот, — ответили ей.

Александра была у военкома, и военком рассказывал, как он ездил на регистрацию в село Мыелдино, за пятьсот верст. Там, в селе, все сидели по домам, в новой одежде; военком приказал показать ему для регистрации лошадей, — ему ответили, что лошадей показывать не стоит, ибо все равно завтра в девять часов утра будет конец света. Так никто и не шевельнул пальцем, сидели по домам и торжественно ждали. Военкому пришлось прождать до двенадцати часов дня, когда привели лошадей, решив, должно быть, что конец света отложен. Военком же рассказывал, как в селах здесь даются мандаты: — «Сельский совет, СССР и прочее», а затем вместо всяких слов хлебом приклеено гусиное перо и крестик по неграмотности. Мандат такой значит: — «вези такого-то, как перо!» — и мчат лесные народы по такому мандату — как пух — на лодках, телегах и оленях.

Александра вернулась в избу, где она должна была ночевать.

И ночью она услышала, как кто-то возится внизу с лошадьми, понукает, двигает телегу. Она спросила, в чем дело? — и ей ответили:

— А это студенты в Москву уезжают.

Она спустилась вниз и увидела среди студентов Яшку.

Отсюда из этих лесов, в Москву ехали студенты, один рабфаковец (Яшка), два студента Кутвы, один из петербургского техникума. Им предстояло проехать триста верст до парохода. Александра поехала с ними.

В Усть-Сысольске Александра и студенты пересели на пароход.

От времени до времени капитан парохода кричал: — Граждане пассажиры, на корму!

Пассажиры шли на корму, — пароход проползал по ливну мели, — тогда — по команде капитана — пассажиры шли на нос.

Затем пароход застрял окончательно на мели, стоял сутки, пока не пришел второй пароход взять пассажиров.

На пароходе было человек десять случайных пассажиров, таких, как Александра, — и было человек полтора студента. Это было то, что леса, болота, озера Коми-области выделили из себя, послали за знанием. — Каждый помнит с картинок из учебников географии старинные русские шляпы из войлока, вроде ведерок, — гречневика: студенты ехали в расшитых рубахах и в таких шляпах. Студентки ехали в сапогах и в платочках.

В ту ночь, когда пароход стал на мели, студенты сходили на берег, и Александра с ними. — Был зеленый, тихий — последний перед осенью — вечер, капал дождь и переставал, перестал. Лес стоял безмолвный, ельник и сосна, под ногами песок. Ныли последние комары. В просторном мраке, неподалеку, позванивали — глухо, медленно — ботала на шеях коров, — тех коров, около которых сидят ежевечерне миллионы русских баб, — ботала перезванивали на разные голоса, точно играл вдалеке испорченный орган. И от этого испорченного органа и от тихой ночи было покойно и мирно, и древне. Студенты разложили костер, пели около него песни. Александра присматривалась в зеленом мраке: лицо зырянской девушки, широкое, здоровое, некрасивое, — только глаза за пенснэ: — какие? как определить? — лесные глаза! — Девушка говорила медленно, очень на о, очень открытыми звуками. — Она кончит в этом году университет. Ее зовут: Юлга-Елень. Она очень покойна, — только эти глаза, — какие? как передать? —

Александра спросила:

— В детстве вас водили молиться вашим богам, в лес?
Юлга-Елень не ответила.

Сказала Александра:

— Не стесняйтесь, меня к очень многим богам водили,
в детстве. Я так же, как вы, ушла из этих лесов — —

— — и

Александра не кончила, ибо — —

Обстоятельство последнее.

— — трехтысячелетие мумии сменилось бредом Александры и Ивана. Вместо Ивана — на место Ивана — сейчас ехало — за счет распада энергии Ивана — ехало полтора десятка студентов, «оттесняемых» в знание лесами, болотами и озерами Коми-земли, — ибо «мне отмщение, и аз воздам». — А на заводе у Полюдовой лощины, в этот час, в лаборатории — таинственнейше, таинственнейше, светом звезд, луны, мумии и всего почного, — светились, флюорисцировали, распадались камни земных непознанных.

Узкое, 25 февр.—19 марта 1927.

СО Д Е Р Ж А Н И Е

Стр.

Тысяча лет	5
Мать сыра-земля	15
Ледоход	77
Мегель	109
Наследники	145
Сторона ненашинская	157
Иван Москва	165



1 9 3 0

ДВА РУБЛЯ 25 КОПЕЕК
ПЕРЕПЛЕТ 20 КОПЕЕК